



ОДНОИМЕНИЕ

СЕРГЕЙ ТАРАНЕНКО



РОМАН • ЦИКЛ «ТУША»



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Сергей Тараненко

Одноимение

«Автор»

2026

Тараненко С.

Одноимение / С. Тараненко — «Автор», 2026

Город построен внутри тела мёртвого великана. Его жители давно привыкли жить среди костей, плоти и древних легенд. Здесь человеку недостаточно родиться — чтобы стать кем-то, он должен получить имя. Скёгуль — одна из тех, кто нарекает других. Она умеет ломать чужие судьбы одним словом и никогда не сомневалась в своём праве это делать. Но Туша хранит слишком много старых тайн. И однажды всё, что казалось мёртвым, начинает напоминать о себе. «Одноимение» — мрачное фэнтези, где имя может стать судьбой, а прошлое — проснуться прямо под ногами.

© Тараненко С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава первая. СКЁГУЛЬ	6
Глава вторая. ХРАВН	10
Глава третья. ОТРЕЗНАЯ	12
Глава четвёртая. КОЖАНИК	16
Глава пятая. ВЕСЫ	18
Глава шестая. СКЁГУЛЬ. СТОЙБИЩЕ	23
Глава седьмая. КОСТНЫЙ МОЗГ	27
Глава восьмая. ГОРТАНЬ	30
Глава девятая. МЁД (вторые сутки)	33
Глава десятая. СКЁГУЛЬ. ВНУТРЬ	38
Глава одиннадцатая. ТРОЕ	40
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Сергей Тараненко

Одноимение

СЕРГЕЙ ТАРАНЕНКО

ОДНОИМЕНИЕ

роман · цикл «Туша»

18+

Содержит нецензурную брань

Глава первая. СКЁГУЛЬ

Человек не хотел быть Кетилем.

Сказал это трижды, и на третий раз Скёгуль перестала слушать слова — стала слушать то, что стояло за ними. Решимость. Настоящая, редкая порода решимости — та, что толкает безоружного на нож просто потому, что стоять на коленях страшнее, чем умереть стоя. Она уважала эту породу. Уважение никогда её не останавливало. Она давно поняла: можно уважать зверя и всё равно снять с него шкуру, если шкура нужна на зиму.

— Кетиль, — сказала она в четвёртый раз. Спокойно, будто он и не открывал рта. — Сын Бранда. Пастух с Восточного края. Двадцать шесть колец на ноже. Три зимы как вдовец.

— Меня зовут не так.

— Мне похуй, как тебя звали родители, — сказала Скёгуль, и в голосе не было ни капли злости, только усталая ясность человека, объясняющего простую вещь в сотый раз за жизнь. — Меня интересует, как тебя будет звать твой круг завтра утром. Сегодня вечером у тебя имени нет вообще. Безымянный на моей земле — не человек. Тревога. Ты тревожишь мой скот. Ты тревожишь мои стойбища. Либо ты Кетиль, либо кусок мяса без бирки. С куском мяса без бирки я делаю то же самое, что с падшим скотом.

Он бросился на неё с ножом для потрошения. Коротким, кривым, рыбным — не для человека сделанным, и это была последняя ошибка в его жизни: нож для рыбы держат не так, как нож для горла, и рука у него пошла неправильно ещё до того, как он сократил дистанцию. Скёгуль увидела эту ошибку раньше, чем увидела самого человека.

Не отступила. Отступить — значит отдать противнику единственное преимущество, которое у него ещё оставалось, а преимуществ и так было немного: длина руки да отчаяние, а отчаяние в бою живёт недолго.

Она поймала его запястье левой рукой и повернула — неторопливо, спокойно, как поворачивают в замке разболтавшийся ключ. Кость под пальцами хрустнула тихо, буднично, будто где-то далеко треснула ветка под чужим сапогом. Нож упал в траву без звука. Он взвыл и рванулся вперёд по инерции, ещё не понимая, что рука сломана, — и Скёгуль коротко, без замаха, впечатала кулак ему в скулу, останавливая рывок. Кетиль — теперь уже Кетиль, хотел он того или нет, потому что имя, произнесённое над сломанной костью, приживается крепче, чем произнесённое над колыбелью, — закричал и осел на колени, будто из него разом вынули весь костяк.

Скёгуль присела на корточки рядом. Неторопливо, будто у костра в конце долгого дня.

— Больно?

Он не ответил. Дышал сквозь зубы, коротко, со свистом.

— Больно, — согласилась она сама с собой. — Хорошо. Боль — клей. Через боль имя приклеивается крепче, чем через ласку. Спроси у любой матери. Та, что кричала в родах, ребёнка помнит всю жизнь, до последнего вдоха. Сонная, которую разбудили тихо и сунули свёрток под бок, — забывает лицо первой ночи через месяц.

Она взяла его за подбородок — пальцы легли на скулы твёрдо, без грубости, но так, чтобы голова не вывернулась. Заставила смотреть в глаза, и в этом было больше власти, чем в сломанной руке.

— Кетиль, сын Бранда, — сказала она в третий раз, и голос переменялся: ушла лёгкость, осталось тяжёлое, ровное, как удар молота по наковальне, растянутый на добрый десяток слов. — Пастух с Восточного края. Двадцать шесть колец. Три зимы вдовец. Отныне и до тех пор, пока я не решу иначе.

Он обмяк. Не потерял сознание — из него вышло то, что до сих пор держало сопротивление стоймя, как кол. В глазах, ещё мокрых от боли, мелькнуло узнавание: короткая судорога,

как будто человека наконец подключили к чему-то, от чего его слишком долго держали отсоединённым, и по проводу наконец пошёл ток.

Скёгуль отпустила его подбородок, поднялась, отряхнула колени.

— Ну вот, — сказала она. — А ты боялся, что будет хуже, чем в первую брачную ночь. Хотя, судя по тому, как ты держал нож, в первую брачную ночь у тебя тоже не особо вышло.

Кетиль всхлипнул. Смешно — по-детски, взахлёб. Она фыркнула, отвернувшись, полезла в сумку за лубком для его руки.

Так у неё было всегда: сделала — и тут же облегчила дело шуткой. Солёной, лишней, никому, кроме неё самой, не нужной. Если не пошутить сразу, пока рука ещё помнит чужой хруст, потом придётся остаться с этим хрустом наедине. А наедине с этим она не оставалась никогда. Ни разу за тридцать лет — с того самого дня, когда впервые взяла чужое имя в свои руки и поняла, что руки после этого не отмываются, сколько их ни три.

Она не притворялась, что ей всё равно. В этом и была беда — ей было не всё равно. Нравился и хруст, и шутка после него. По-настоящему, до тёплой тяжести внизу живота, до короткого судорожного вдоха, какой бывает не от страха. Не потому что так легче. Там, где у других людей живёт стыд, у неё давно было пусто. Выскоблено дочи́ста, как полость после разделки — а после удивляются, почему в неё ничего не заходит: ни стыд, ни жалость, ничего. Только тепло, работа — и ещё, отдельно, в самой глубине, куда она заглядывала редко, узкая холодная полоска сомнения, на которую не действовали ни хруст костей, ни солёные шутки после.

Наложила лубок быстро, привычным движением рук, которые делали это столько раз, что не нуждались в глазах. Кетиль послушно подал руку — доверчиво, как ребёнок подаёт руку матери на переходе через ручей.

— Отлежись у костра, — сказала она. — Соседний костёр — мои же люди, рукой подать. Утром сама дойдёшь, скажешь, что Скёгуль нарекла, — сразу присмирят и накормят. Там баба есть, вдова с прошлого года, крепкая — тебе подойдёт. Я эту породу знаю, сама такую делала не раз.

Никто не спросит с него бумагу. Никто не сверит его имя со списком, не взвесит его на входе, не потребует бирки. Она сказала — и этого хватит на весь остаток его жизни, без единой записи хоть где-нибудь.

Он посмотрел на неё снизу вверх. Благодарно, зло и испуганно — всё разом, как смотрят на то, что одновременно спасло и сломало, и не разберёшь уже, где кончается одно и начинается другое. Скёгуль отвернулась первой. Этот взгляд она видела слишком много раз, чтобы находить в нём что-то новое.

Кетиль уснул быстро — усталость и боль валят человека вернее любого зелья, сваренного самым умелым травником. Скёгуль осталась у костра одна.

Стянула нагрудник и бросила его в траву — и осталась совсем голой в последнем сером свете дня: под ним не было ничего, кроме собственной кожи. Встала, разминая поясницу — тридцать лет в седле дают о себе знать к вечеру честно, без обмана, — и пошла на звук воды: река шумела за кустами, невидимая, но узнаваемая по голосу. В этом не было ни капли стеснения — тридцать лет в поле и в драке отучили её прикрываться перед кем бы то ни было, а прикрывать здесь было и вовсе не от кого.

Вошла в реку без раздумий. Вода ледяная, натёкшая с равнины после дневной жары, обожгла кожу сразу и полностью. Скёгуль зашипела сквозь зубы — «блядь, холодно», — но не остановилась, пошла дальше, пока вода не сомкнулась под грудью.

Стояла долго. Мылась ладонями — по плечам, по груди, по животу, — стирая пыль и ввевшийся запах пота, крови и кожаной сбруи, что копится за день так, что к вечеру уже не различаешь, где кончается лошадь и начинаешься ты сама. Смыла кровь Кетили с костяшек

правой руки: тонкую корку, уже подсохшую в складках кожи между пальцами. Вода вокруг руки на мгновение помутнела бурым облачком, потом снова стала чёрной, как и была.

Запрокинула голову, окунула волосы целиком. Коса расплелась в воде, пряди — светлые, седые, рыжие, все вперемешку, будто три разные женщины делили одну голову, — разошлись в стороны широким веером. На секунду, с закрытыми глазами, под немым тёмным небом, в холодной воде, которой было безразлично её имя, Скёгуль была просто телом в реке. Без работы. Без сомнения. Без той узкой холодной полоски внутри, что не отпускала её ни днём, ни ночью вот уже тридцать лет.

Вышла, когда стемнело окончательно. Постояла на берегу, глядя туда, где за дальним холмом лежал хребет мёртвого великана и курился дымом в темноте, — тонкая оранжевая нить на самом краю неба.

Потом подняла нагрудник с травы и застегнула его на голое тело — привычным движением, как надевают броню перед боем. Утром снова будет чьё-то лицо, для которого придётся держать своё собственное на месте.



Утром уехала одна. Кетиль сам добрёл до соседнего костра, как она и велела, — те приняли его молча, без вопросов: имя, названное Скёгуль, вопросов не требовало. И вот тут, впервые за весь вечер и всю ночь, рука дрогнула, когда она затыгивала подпругу. Едва заметно — никто бы не увидел, если бы и смотрел. Она сама заметила и замерла, держа ремень в пальцах, и на секунду перед глазами встало не лицо Кетилия, а другое — гораздо более старое лицо. Того, кого она нарекла много лет назад, так же уверенно, так же безупречно, без единой дрогнувшей жилки. Того, кто ушёл в первую же зиму после наречения и не вернулся, и о ком она с тех пор запретила себе думать словами длиннее одного.

Она стояла так несколько секунд, ремень так и не затянутый в пальцах. Потом коротко выдохнула носом — один раз, резко, будто ставила точку, — и заставила лицо снова стать тем, каким оно было последние тридцать лет.

Додумывать не позволила. Никогда себе не позволяла. Затянула подпругу до конца, ту же, чем требовалось, — и от этой лишней, ненужной силы в движении стало немного легче, потому что тело хотя бы понимало, куда девать то, чему не было названия. Вскочила в седло одним движением, будто оно само подбросило её наверх.

Конь взял рысью. Трава пошла полосами по обе стороны, серо-зелёная, ещё в утренней росе. К полудню впереди, на самом краю зрения, показался горб — тёмная линия там, где равнина обрывалась во что-то большее. Слух о трещине шёл именно оттуда, с запада, слишком часто повторяясь в последний месяц, чтобы быть пустым слухом.

Ехала весь день, не сбавляя хода дольше, чем требовалось коню на передышку. К вечеру горб перестал быть горбом.

Не гора. То, что вставало перед ней теперь, распластавшись на полнеба, не было ни горой, ни чем-либо ещё из того, к чему она привыкла в своём круге за тридцать лет странствий. Лежало на боку, огромное, и первое, что бросалось в глаза, было почти мирным: длинный пологий хребет, поросший тёмной жёсткой травой, уходил вдаль ровной линией. Дальше, там, где полагалось быть голове, курган плавно переходил в нечто исполинское и заросшее ровно, без единой морщины, без единого провала, — как спящее лицо великана, который спит слишком давно, чтобы его сон когда-нибудь потревожили.

А потом гряда обрывалась. Резко, будто по живому прошли ножом одним движением: там, где у тела должна быть грудь, дёрн кончался рваным, необработанным краем, и дальше начинались рёбра — торчащие голым частоколом, ободранные добела, курящиеся дымом из щелей между костями. Будто сама кость дышала. Не мёртвая сухая кость, какую находят в степи после стервятников, — вскрытая, живая по-своему, с огнями внутри, просвечивающими

сквозь щели, как сквозь прутья клетки, в которой держат что-то, чему давно полагалось умереть, но оно почему-то до сих пор теплится.

Она читала об этом когда-то. Все читали, у всех костров рассказывали одну и ту же байку с разными подробностями. Но одно дело — знать по чужим словам, и совсем другое — увидеть своими глазами, как из бока мертвеца поднимается настоящий дым, живой, густой, пахнущий даже отсюда, с такого расстояния, горелым жиром и железом.

— Западная, — сказала она вслух, просто чтобы услышать собственный голос среди этой немоты.

Конь фыркнул под ней, дёрнул ухом.

Достала из-за пазухи узловик, провела огрубевшим пальцем по узлам, один за другим, пока не нашла нужный: тугой, с двумя оборотами, — «осторожно, там своя валькирия, туда без спроса не ходят».

Своя валькирия у Западной действительно была — Скёгуль знала о ней немного: только имя, слышанное однажды на дальней ярмарке краем уха, среди прочего шума и торга, и не была даже уверена, что запомнила его верно.

Смотрела на хребет, пока солнце не начало садиться за его спину. Дым из щелей между рёбрами окрасился снизу оранжевым, густым, будто внутри великана наконец развели настоящий огонь — не тлеющий, а разгоревшийся.

Она не знала, что внутри, в узкой щели между четвёртым и пятым ребром, в этот самый час резчик по имени Кари держит в пальцах двенадцатый по счёту резец и негромко просит мать перепуганного мальчика расстегнуть воротник до конца.

Не знала — и узнавать пока было незачем. Слух о трещине привёл её только к чужой земле, к самому краю чужих владений. Внутри она не собиралась.

Развернула коня и поехала прочь вдоль хребта, туда, где равнина снова становилась просто равниной. Оранжевый дым за спиной ещё долго был виден в темнеющем небе — пока она сама не перестала оборачиваться, чтобы посмотреть.

Глава вторая. ХРАВН

Мальчику было девять, и он не орал.

Уже лучше половины взрослых, которых Кари переименовывал за двадцать лет ремесла. Взрослые орут почти всегда — даже те, кто до последнего мгновения хочет казаться храбрым перед своими же родичами. Тело не спрашивает у хозяина гордости, когда в него лезут резцом до кости; тело просто кричит, потому что так устроено, и стыдиться этого так же глупо, как стыдиться пота.

Мастерская Кари стояла в щели между четвёртым и пятым ребром. Хрящ Имира здесь давно зарос кирпичом, кирпич — жёстью, жёсть, в свою очередь, — плесенью, толстой, бархатистой, будто мехом. Местные звали эту плесень «мукой» и в самые голодные недели действительно её ели, отскребая со стен ложками. Потолком служила сама кость — тёплая, всегда на пару градусов теплее человеческого тела, будто где-то за ней, глубоко, до сих пор бьётся что-то живое. Из-под повязки на третий день после операции тянуло не гнилью ещё, но уже и не той чистотой, что была вначале, — переходным запахом, который Кари различал раньше любого лекаря.

— Ключицу, — сказал он.

Мать растегнула воротник мальчика. Пальцы у неё дрожали — пуговица трижды выскальзывала из петли, и на третий раз она чуть слышно выругалась, коротко и зло, себе под нос, а затем виновато глянула на Кари, будто грубое слово перед резчиком было хуже, чем то, зачем она сюда вообще пришла.

Кари не помогал. Никогда. Это была единственная часть работы, которую он оставлял родне целиком, — чтобы после никто не сказал по ярусам, что резчик из межрёберья сам раздевает чужих детей.

Под кожей у мальчика виднелась ямка ключицы — тонкая, острая, почти птичья. Кари протёр её спиртом, затем мёдом. Липовым, контрабандным, с самой Гортани — липовый мёд глушит боль в кости лучше любой купленной химии, и никто толком не знал почему, а Кари и не хотел знать: работает — и довольно.

— Как звали отца? — спросил он, не поднимая глаз от инструмента.

— Ормар, — голос матери сел до хрипа. — Ормар Кривой. Он в Костном Мозгу. Второй год.

«Второй год» значило «мёртв», и мать это знала не хуже него, но предпочитала говорить географией, а не тем коротким страшным словом. «Умер» — конец, точка, дальше некуда. «Второй год» — долг, который вроде бы ещё можно отсрочить, даже когда точно знаешь, что нет.

— Ормарсон, — сказал Кари и открыл коробку.

В коробке лежали резцы — двенадцать штук, от «волоса» до «пальца», каждый в своём гнезде, с руной на рукояти. Не для колдовства — чтобы не перепутать в темноте, когда лампа гаснет посреди работы. Резцы старойковки, от Тюра. Тюр когда-то учил его: резец должен быть холоднее руки, которая его держит. Кари с тех пор держал коробку у наружной стены, где вечно сквозило, — там металл дольше сохранял холод.

Выбрал «волос».

— Смотри на мать, — сказал он мальчику. — Не на меня. Считай ресницы. Досчитаешь до сорока — всё уже кончится.

Разрез — одним движением. Три сантиметра вдоль кости. Кожа разошлась ровно, будто растегнули застёжку, а не разрезали живое. Крови вышло меньше, чем боялась мать, — Кари одиннадцать лет учился резать так, чтобы люди боялись сильнее, чем следовало на самом деле;

страх экономит движения, а движения экономят кровь. Развёл края крючками. В глубине блеснуло что-то белое, влажное, безымянное.

Чистая кость. Самое красивое, что есть в человеке, — Кари верил в это по-настоящему, без рисовки, единственная вещь, о которой мог говорить вслух без капли стыда.

Опустил резец и начал писать. Не письмо на бумаге — руны внутрь, в толщу кости, слоями. Каждая насечка должна была лечь так, чтобы кость, срастаясь заново, сама замкнула контур. Имя потом не читают глазами. Читают вибрацией: прикладываешь ключицу к костогляду на воротах, костогляд отвечает коротким звуком, кость отзывается своим. Город слышит: этот — наш, у этого воздух оплачен наперёд.

Мальчик досчитал до сорока и начал сначала. На восьмидесяти Кари закончил вязь и поднял голову.

— Как тебя зовут?

Мальчик открыл рот — и не смог ответить. Так бывает всегда, без исключений. Между последней насечкой и первым выдохом проходит несколько секунд, в которые человек — никто, пустое место между старым и новым. Все, кто это пережил хотя бы раз, помнят эти секунды до конца жизни лучше, чем собственную свадьбу.

— Хравн, — сказал он наконец. Тихо, будто пробуя слово на вкус, не веря ему до конца. — Хравн Ормарсон.

Кость отозвалась — тихий отзвук, будто где-то в стороне уронили ложку на каменный пол.

Мать заплакала — не в голос, в кулак, зажимая рот так, что побелели костяшки. Кари не сказал в этот раз привычное «здесь сыро», как говорил обычно, когда родня начинала плакать. Позволил себе не портить чужую редкую минуту словом.

Взял иглу, стал зашивать. За работу полагалось двенадцать вир. Мать могла заплатить три. Он взял три, заранее зная, что доберёт оставшиеся девять с кого-нибудь другого — так было всегда, баланс сходился не в одной комнате, а по всей его жизни разом.

Мать унесла мальчика на руках, хотя тот уже был велик для этого. Кари вымыл руки в тазу, вылил воду в щель, откуда тянуло вниз, на тридцать восьмой ярус, и в этот момент услышал шаги на лестнице.

Узнал по звуку раньше, чем по чему-либо ещё. Взыскателей виры узнают по шагу. Обычный человек идёт как попало — цепляется носком, торопится, сбивается. Отрезные ходят ровно: один шаг — одна ступень, одна и та же доля секунды на каждую. Их учат экономить дыхание для последней части визита, где может понадобиться бежать или бить.

Кари посчитал ступени. Двадцать шесть. Она поднялась ровно двадцать шесть ступеней и ни разу не сбилась с ритма. К тому моменту, когда она вошла, он уже сидел, положив руки на колени ладонями вверх, с лицом человека, который весь вечер только её и ждал, — и в этом не было притворства больше обычного.

Глава третья. ОТРЕЗНАЯ

Она оказалась ниже, чем он предполагал по звуку шагов. Отрезных берут невысокими нарочно — крупному человеку трудно работать точно, ювелирная резьба требует небольшой кисти. И кормят их не из милосердия: голодная рука дрожит, а дрожащая рука режет неровно, и недорезанный по весу труп обходится Конторе дороже, чем лишняя миска каши.

В Требухе разницу видно издалека, шагов за сорок. Женщина к тридцати годам здесь — верёвка: сухие запястья, ключицы торчат, как ручки ведра, лопатки выпирают под кожей острыми крыльями.

А эта стояла в дверях, и у неё было всё, чего не было у прочих.

На голову ниже Кари и вдвое плотнее любой женщины на этом ярусе. Короткая, тяжёлая, круто выложенная в бёдрах. Грудь, которую серое форменное сукно держало на крючках не из скромности, а потому что иначе просто не сходилось на пуговицах. Когда она поворачивалась, под тканью перекатывалось столько живого, сытого, тёплого мяса, сколько на всём тридцать девятом ярусе не набралось бы на десяток женщин разом. В любом другом городе это называли бы красотой. Здесь называли ценником.

Значит, кормят хорошо. Не из милосердия — из расчёта. Человек, встретивший такое тело в междрёберье в третьем часу ночи, думает не о том, как бы его раздеть, а о том, где ближайшая щель вниз, если это ловушка, потому что такое тело здесь не бывает бесплатным.

Волосы — короткий жёсткий ёжик цвета мокрого песка. В работе с кровью длинные не носят: за них хватают в первую же секунду драки. Через левое предплечье шла шина — не медицинская, рабочая, направляющая, чтобы рука не дрожала при разрезе. На бедре, поверх форменной юбки, крепились весы.

Кари посмотрел на весы и понял: вечер испорчен окончательно.

— Кари по прозвищу Мёд, — сказала она. Голос бесцветный, ровный, как зачитываемый список. — Ярус тридцать девять, междрёберье, щель одиннадцать. Реестровое имя — отсутствует. Долг — четыреста девять основного и тысяча двести восемьдесят накопленного. Итого тысяча шестьсот восемьдесят девять.

— Округли до тысячи семисот, — сказал Кари. — Я не мелочный.

— Я мелочная, — ответила она без тени юмора и закрыла за собой дверь, придерживав створку, чтобы та не хлопнула.

— Опись изъятия. Первое: язык. Оценён в девятьсот, как профильный инструмент. Второе: левая ключица целиком, с содержимым. Оценена в семьсот восемьдесят девять, как носитель.

— У меня нет содержимого, — сказал Кари. — Я нидинг. Голая кость, ничья.

— На вашей ключице сорок одна фальшивая закладка. Реестр их не читает. Покупатели — читают. Вы носите на себе чужие черновики, как купец носит в мешке образцы ткани. Это имущество. Оно оценено.

Кари медленно откинулся спиной к стене.

Она была права. Сорок одна заготовка за одиннадцать лет работы: обрывки чужих имён, недописанные родословные, ключи к трём воротам в Рёбрах и один — к шлюзу в Мозговине. Он носил свою картотеку буквально в себе, под кожей. Нидинга не обыскивают. Нидинга, по закону, не существует. А то, чего не существует, не может ничем владеть — так гласило уложение, и в этом было единственное укрытие, каким он до сих пор пользовался.

Отрезные, впрочем, работают с мясом, а не с уложениями.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Не входит в опись.

— Входит — чтобы я не дёргался под резцом. Я дёргаюсь, когда не знаю, кто меня режет. Спроси у своих же наставников: третий раздел, «снижение сопротивления».

Пауза. Короткая, но настоящая. Он засчитал её как первую трещину в броне.

— Хильд.

— Хильд, а дальше?

— Хильд.

— Просто Хильд?

— В Конторе меня зовут Грамм.

— Почему?

— Потому что я не ошибаюсь на грамм. — Сказано было как диагноз, поставленный самой себе без всякого удовольствия. — Сядьте ровно. Руки на колени. Голову назад.

Она достала из чехла ложку — двадцать сантиметров тусклой стали, похожую на десертную, у которой один край стачивали до бритвенной остроты. Такими вынимают язык у самого корня, чтобы вес сходилась до последней доли.

— Сколько ты получишь за меня?

— Шесть процентов сверх номинала.

— Сто вир.

— Сто один и четыре.

— И что ты на них купишь, Хильд?

— Воздух. На восемьдесят дней.

Она шагнула к нему. Кари понял: времени больше нет. Открыл рот не для того, чтобы отдать свой язык, а чтобы напоследок им воспользоваться.

Сказал одиннадцать слов.

Он не помнил их ни до, ни сразу после — кеннинг не хранится в голове, он проходит сквозь неё, как проволока сквозь брусок мыла. Знаешь только, что где-то в языке лежит обход: «жир глубины» вместо кита, «пот бедра» вместо меча. Тянешься за словом, произносишь — и город на мгновение спотыкается. Из тебя выпадает кусок, о существовании которого ты и сам не знал заранее.

Кари произнёс кеннинг веса.

Весы на бедре Хильд взбесились разом. Стрелка ушла вправо до упора, потом рванулась влево. Пружина лопнула с певучим, почти музыкальным звуком — если бы не звучало это как последний вздох умирающего механизма. Хильд отшатнулась, схватилась за корпус обеими руками. На лице у неё был ужас — не боль, не злость. Чистый, детский ужас человека, у которого вырвали из-под ног единственную опору, на какой он стоял всю жизнь.

— Что ты сделал, — сказала она. Не вопрос — констатация.

— Сломал весы.

— Что. Ты. Сделал.

— Твою мать, — сказала она тише, уже себе самой, будто не рассчитывая, что он услышит. Первое грубое слово, которое он от неё слышал за весь разговор. И прозвучало оно страшнее любого крика.

— Я сказал городу, что в этой комнате ничего не весит, — Кари вытер губы; на пальцах осталась кровь: кеннинги всегда рвали что-то в глубине носоглотки, плата за каждое такое слово бралась изнутри. — Часа на два. Потом вернётся. Но пока эти два часа идут, ты не можешь изъять — потому что не можешь взвесить.

— ...запрещено, — закончила она за него. — Двойная вира и остружка.

— Я читал уложение. У меня было время его выучить наизусть.

— Заткнись.

Она села — не на табурет, на пол, спиной к двери, со сломанными весами на коленях. Смотрела на них так, как смотрят на ребёнка, которого только что сбила телега.

Кари молчал. Умел молчать в нужный момент — это была вторая половина его ремесла, не менее важная, чем первая.

— Мне дали шесть часов, — сказала Хильд наконец. — На вас. Потом я обязана сдать опись. Без изъятия и без весов Контора спишет недостачу с меня самой.

— Тысячу шестьсот восемьдесят девять?

— Тысячу семьсот. Округляют вверх, всегда.

Кари засмеялся. Не смог удержаться, хотя понимал, что смеяться сейчас глупо и опасно. Смеялся, зажимая рот ладонью, а по подбородку текла кровь от лопнувшего сосуда в горле. И вдруг ему почудилось, что он уже видел когда-то, как кто-то другой точно так же зажимал себе рот ладонью — давно, в другой жизни. Не вспомнил, кто именно. Смех оборвался сам собой.

— Хильд, — сказал он. — Хочешь, предложу кое-что похуже?

Она подняла глаза.

У неё было лицо, каких он не видел в междурёберье годами: широкие скулы, тяжёлый, крупно очерченный рот, ровная светлая кожа без язв и без серой плёнки нездоровья, что покрывает лица здешних жителей к тридцати годам. Такое лицо в Требухе читается как ошибка — чужая, дорогая вещь, случайно попавшая не в ту витрину. Первый порыв при виде такого лица — не восхититься, а быстро оглядеться по сторонам: кто его потерял и когда придёт искать пропажу.

Потом — глаза. Оба светлые, почти без цвета, как разбавленная вода. Левый на полмиллиметра не совпадал с правым, чуть косил внутрь; когда она переводила взгляд, он на долю мгновения отставал. Дешёвая замена, воровая работа за сорок монет, такие меняют раз в пять лет по всей Туше. От этого несовпадения всё лицо казалось немного пугающим, будто смотрели на тебя два разных человека одновременно. Тело с такой кормёжкой не ходит с сорока-воровым глазом — где-то тут не сходился баланс, одно из двух было куплено не на её деньги.

Кари тогда подумал: значит, дело в глазе.

Ошибся ровно наоборот. Понял это только на девятые сутки — но тогда, в первый вечер, ещё не знал, куда смотреть.

— Я могу дать тебе имя, — сказал Кари. — Настоящее. Не за плату, не бирку — полноценное реестровое имя первого яруса. С воздухом, водой, медициной и правом на подъём. За такое в Гортани платят двести тысяч. Даю за девять суток твоей охраны.

— Мне не нужно. У меня есть имя.

— У тебя бирка. «Хильд, отрезная, шестой разряд». Ты не человек — должность. Сотрёшься с ярусов — впишут следующую на то же место, и никто даже не заметит подмены.

Она не ответила. Не отвела взгляд. Кари засчитал это как попадание — второе за вечер.

— Взамен ты будешь девять суток меня охранять.

— От кого?

— От Конторы. От начальства. От тех двоих с корзинками, — он увидел, как дёрнулась её щека при этих словах, и отметил про себя, что попал точно, — и от одного человека, который скоро придёт за моей ключицей сам, лично.

— Кто?

— Тот, чья сорок первая закладка на самом деле его собственная, а не чужая. Я украл её у него одиннадцать лет назад. Он думал, что я давно мёртв. Позавчера я по глупости продал часть этой закладки человеку, который попал в Ноготь и там разговорился больше, чем следовало.

Он наклонился вперёд.

— Кто-то заказал мой язык за девятьсот вир. Ты знаешь, зачем переплачивают именно за язык, а не за горло?

Хильд молчала.

— Чтобы человек остался жив. И больше никогда в жизни не смог сказать ни единого слова.

Наверху, в Хребтовине, глухо прокатился звук — будто под всем городом кто-то очень большой повернулся во сне на другой бок.

Хильд вздрогнула всем телом. Кари — нет: он прожил в межрёберье одиннадцать лет и знал разницу между обычной дрожью стен и той, после которой потом считают трупы по ярусам.

— Это ещё не то, — сказал он. — Она просто дышит.

— Кто?

— Туша. Ты никогда не задумывалась, где мы с тобой на самом деле живём?



Глава четвёртая. КОЖАНИК

Ночью он показал ей книгу.

Она не спала — сидела у двери, с разряженными весами на коленях и заряженным гвоздарём под рукой. Кари тоже не спал. Никогда не спал больше трёх часов подряд: на третьем часу приходили чужие воспоминания, точнее — дыры на их месте, пустоты в форме чего-то, что когда-то там было. Он предпочитал встречать эти дыры сидя, лицом к ним, а не во сне, беззащитным.

— Тебе будет неприятно, — предупредил он.

— Мне за сегодня уже было.

Снял рубаху.

Хильд не отвела глаз. Отрезные не отводят — это вбивают в них раньше, чем учат держать ложку для языка. Она просто перестала на мгновение дышать, и Кари молча засчитал это как реакцию, хотя и не показал виду.

От ключиц до пояса кожу покрывали белые рубцы. Сотни, может, тысячи, уложенные ровными строками — сверху вниз, слева направо, как строчки в книге, написанной прямо по телу. Они огибали соски, ныряли под рёбра, спускались дальше на живот узкими параллельными полосами. Одни рубцы были старыми, оплывшими, почти сросшимися с кожей до цвета слоновой кости. Другие — свежими, розовыми, ещё с тонкой корочкой по краю.

— Кожаник, — сказал Кари просто. — Девятнадцать лет ращу эту книгу на себе.

— Что там написано?

— Всё, что я боялся забыть навсегда. — Он провёл пальцем по строке под левым соском. — «У тебя была сестра. Аса. Умерла ещё до Туши, в Оке, когда ей было шесть. Ты держал её за ноги». Асу я не помню. Помню только эту строчку — и то, что после неё немеет левая рука, каждый раз, стоит прочесть.

Ниже шла другая строка, короче: «Ты не любишь тмин. Не притворяйся». Звучало как глупость, мелочь не по чину среди всей этой книги шрамов, но однажды он забыл про неё, съел похлёбку с тмином, не заметив, — и его рвало потом четыре часа подряд, будто тело мстило за нарушенную клятву памяти.

У самого пояса шла ещё одна строка — длинная, вырезанная глубже прочих, поверх старых, уже выцветших рубцов.

— А это?

— «Ты уже спасал одного человека. Это стоило тебе всего. Не делай дважды».

— Кого спасал?

— Не знаю. Я записал вывод, а не факты. Тогда думал, что такое забыть невозможно в принципе. Ошибся.

Он натянул рубаху обратно.

— Ложись. Завтра сдавать опись, а до утра осталось немного.

— Я не сплю на работе.

— Ты сейчас не на работе. Ты в отпуске за свой счёт. Очень, очень большом.

Хильд легла на пол у двери, положив руку на гвоздарь так, чтобы пальцы не теряли с ним контакта даже во сне. Кари погасил лампу. Кость над их головами тускло светила изнутри собственным, ровным, будто дышащим светом.

— Мёд, — сказала она в темноте.

— Что.

— Как делают настоящее имя.

Кари долго молчал, прежде чем ответить.

— Настоящее имя нельзя сделать заново. Только украсть. Реестр ведёт счёт: сколько имён вписано — столько людей во всей Туше дышит одновременно, ни больше, ни меньше. Впишу тебе новое — где-то в другом месте одновременно погаснет чужое. Реестр считает парами. Каждое живое имя — это чья-то смерть, оформленная бумагой как рождение.

— Ты предлагаешь мне убийство.

— Наследство. В Туше каждый день умирает восемь тысяч человек. Восемь тысяч имён уходят в остаток. Контора Норн держит весь этот остаток в своём Колодце и не отдаёт никому. Пустое, никому не принадлежащее имя стоит дороже полного, занятого. Я умею доставать имена из остатка. Это моё ремесло, а не только резьба по кости.

— Как достать?

— Плохо. И очень дорого. Девять суток — не для красоты счёта. Кость срастается ровно девять суток, не быстрее.

Он услышал, как она поворачивается на своём месте у двери.

— Ты сказал: «полноценное имя первого яруса». «За которое в Гортани платят двести тысяч». Если умеешь такое — почему до сих пор живёшь в дыре между рёбрами и ешь плесень со стен?

— Потому что могу сделать это ровно один раз. Для одного человека. И больше никогда в жизни.

— Почему только раз?

— Потому что за такое имя платят не вирой.

Она не спросила, чем именно платят. Отрезных учат не задавать вопросов, ответ на которые потом придётся вносить в собственную опись.

Через некоторое время Кари услышал, что она заснула — не по дыханию угадал, а по слабому звону весов, когда её рука соскользнула с корпуса на пол.

Он встал. Тихо, обходя скрипучие доски по памяти, достал из ниши в стене тонкую полоску высушенной кожи — страницу, которую никогда не носил на теле, только хранил отдельно, как самое опасное из всего, чем владел.

Развернул её у слабого света кости, прочитал в двадцатый ли, в двухсотый, в тысячный раз — счёт давно потерялся:

«Ты найдёшь её. Не узнаешь. Решешь, что она нужна тебе для дела. Она тоже не узнает тебя — за это заплачено отдельно. Не говори ей ничего раньше срока. Отрежет язык раньше, чем поверит хоть слову. Когда придёт девятый день — отдай всё, без остатка. Ты уже согласился на это. Подпись — на кости».

Внизу страницы стоял след его собственного зуба — вместо подписи, которую нельзя подделать.

Свернул страницу обратно, убрал за коробку с резцами. Вернулся на матрас, лёг, глядя в тёмный потолок из живой кости.

За стеной, в самой толще ребра, что-то медленно, влажно, долго передвинулось — как ворочается во сне слишком большое тело, которому тесно в собственных границах.

Туша ворочалась во сне.

Ей оставалось спать ещё девять суток.

Глава пятая. ВЕСЫ

Контора стояла в Кадыке — единственном районе, построенном не в теле, а на нём: хрящевой выступ у самого основания Гортани, широкий, серый, отполированный до блеска чужими подошвами за двести без малого лет. Из этого выступа торчали пять башен: Опись, Изъятие, Хранение, Оценка — и пятая, без таблички, о которой в Конторе не говорили вслух даже между своими.

Хильд поднялась в башню Изъятия в шесть утра, как поднималась туда одиннадцать лет подряд, будто заведённая, и встала в очередь.

Очередь была короткой. Отрезных вообще мало — взыскание дело медленное, штучное, распылять его на толпу невыгодно, как невыгодно ставить десять поваров варить один котёл. Впереди стоял Хравнкель, старик с жёлтыми от старости пальцами, — последние года три он брал только глаза: работа лёгкая, а руки у него уже ходили ходуном, как у всех к семидесяти. В ведёрке с физраствором у его ног мутно плавало восемь глазных яблок, покачиваясь от каждого его шага.

— Грамм, — сказал он, не оборачиваясь, узнав по звуку шагов. — Пустая сегодня.

— Пустая.

— Первый раз за одиннадцать лет.

— Второй. В тридцать первом должник умер ещё до изъятия, не дотерпел.

— Тот случай не считается. Мясо было, но холодное — можно было доработать. — Он наконец повернулся к ней всем телом, медленно, как поворачивают тяжёлый шкаф. — Что стряслось-то?

Хильд знала это лицо наизусть. Жёлтая кожа, три уцелевших волоса на макушке, добрые слезящиеся глаза. Хравнкель был из тех редких стариков, которых все вокруг любят просто так, ни за что, — и она тоже к нему тянулась, и знала при этом совершенно точно: скажи она ему сейчас правду, он донесёт её в Хранение раньше, чем она успеет спуститься по лестнице, — не по злобе, не для выгоды, а потому что в его возрасте недоносительство стоит куда дороже дружбы, а дружба всё равно кончается раньше долга.

— Весы сломались.

Хравнкель отвернулся, ничего больше не спросив, — этого ответа ему хватило с избытком.

— Тогда молись, Грамм.

Старший весовщик Скегги принимал в зале без окон, где вдоль стен ровным строем стояли контрольные весы — двенадцать штук разного класса, от центнерных, годных взвешивать целые туши, до аптечных, ловящих десятую долю грамма. Сам Скегги сидел в кресле, которое под его тяжестью давно перестало быть креслом и стало чем-то вроде подставки, специально усиленной снизу брусками: он весил центнера три, не вставал уже шестой год, а когда-то, задолго до этого, был лучшим отрезным во всей Туше — легенда, которую новичкам рассказывали для вдохновения.

На левой руке у него не осталось ни одного пальца. Все восемь фаланг он в разное время внёс сам, в счёт собственных недовесов, и рассказывал об этом каждому новичку не как о позоре, а как о боевых шрамах, — с гордостью человека, который платил по счетам собственным телом, а не чужим.

— Грамм. Клади.

Хильд положила сломанные весы на стол перед ним.

Скегги смотрел на них долго, не торопясь. Потом взял тремя оставшимися пальцами, перевернул, тряхнул, услышал, как внутри перекачивается обломок пружины, и поставил обратно на стол с тихим стуком.

— Как это случилось.

— Должник применил кеннинг, — сказала Хильд. — На вес.

В зале стало тихо — по-настоящему тихо, так, что стал слышен скрип чужих контрольных весов где-то в дальнем углу.

— Скальд, — сказал Скегги.

— Да.

— Мёд, ярус тридцать девять.

— Да.

— Мы знали, что он скальд, — Скегги медленно почесал складку кожи под подбородком, будто помогая мыслям идти дальше. — Это было в описи прямым текстом. «Вербальный риск, категория два, рекомендована глушь». Ты взяла глушь?

Хильд не ответила сразу.

Глушь — это капа, резиновая, с распоркой, которую полагалось вставлять должнику в рот в самом начале визита, чтобы он физически не мог артикулировать слова. Их выдавали под роспись из отдельного шкафа, и Хильд не взяла глушь в тот вечер — потому что глушь весит сорок восемь граммов, а сорок восемь граммов надо потом отдельно сдавать вместе со всем изъятым, отчитываться за них по форме; и потому что за одиннадцать лет службы ни один должник ещё ни разу не сказал ей ничего, чего стоило бы всерьёз бояться.

Она не взяла глушь, потому что была уверена в себе. Вот и вся правда, короткая и обидная.

— Ты не взяла глушь.

— Не взяла.

— Ты понимаешь, что это не поломка по случайности. Это утрата по твоей вине.

— Понимаю.

— Тысяча семьсот за само изъятие плюс шестьсот за весы. — Скегги пошевелил губами, беззвучно считая в столбик. — Итого две тысячи триста. У тебя есть две тысячи триста, Грамм?

— Нет.

— Что у тебя есть?

— Триста двадцать.

Скегги вздохнул — вздох у него всегда получался долгий, с присвистом в изношенной груди, и заканчивался чем-то похожим на бульканье, будто вздыхал не человек, а старый бурдюк.

— Знаешь, что мне в тебе нравилось все эти годы? — сказал он. — Ты единственная за двадцать лет службы, кто ни разу не выторговывал себе процент сверх положенного. Приходила, резала, взвешивала, сдавала — и уходила молча. Я на тебя ставил, Грамм.

— На что ставил?

— На пятую башню, — сказал Скегги. — Думал, ты туда рано или поздно дорастёшь сама. — Он поднял на неё глаза, и в них впервые за весь разговор мелькнуло что-то похожее на жалость. — А теперь, похоже, придётся сходить туда пораньше срока.

Он выкатил тяжёлый ящик стола и достал папку.

Папка была из настоящей бумаги — а это уже само по себе означало заказ уровнем выше третьего яруса, — и на обложке стоял оттиск, который Хильд за одиннадцать лет видела всего три раза: круг с узкой прорезью, похожий на прищуренный, закрытый глаз.

Дом ХАР.

— Сводная опись, — сказал Скегги. — Четыреста позиций. Девять суток срок. Ставка — пять вир за каждую исполненную позицию плюс полное списание твоего нынешнего долга в случае исполнения всей описи целиком.

— Четыреста позиций за девять суток — это по сорок четыре в день, — сказала Хильд, уже считая на ходу. — Один отрезной делает три позиции в день. Четыре, если очень повезёт с материалом.

— Тебе дадут людей в помощь.

— Каких людей?

— Не отрезных, — сказал Скегги и первый раз за весь разговор отвёл глаза в сторону.

Хильд взяла папку в руки.

Позиции шли обычным конторским столбиком: ярус, район, щель, имя, что изымается. Она прочитала первые двадцать строк и остановилась, не листая дальше.

— Тут у всех одно и то же изымаемое.

— Да.

— Ключица. Левая. Целиком, с содержимым.

— Да.

— Скегги, — сказала она медленно, — тут у половины людей вообще нет долга.

— Не у половины. Ни у кого во всём списке.

Она подняла на него глаза.

— Это не взыскание, — сказала она.

— Это заказ, — сказал Скегги ровно, не отводя взгляда на этот раз. — Заказчик оплатил по тарифу изъятия, значит, оформляется как изъятие. Ты не первый год в деле, Грамм. Мы не спрашиваем клиента, зачем ему чужой глаз. Мы вешаем и сдаём в срок.

— Четыреста ключиц с живыми именами.

— Четыреста один, — сказал Скегги. — Загляни на последний лист.

Хильд перелистнула папку до самого конца.

Последняя страница была почти пуста. Одна строка, отпечатанная тем же ровным, безликим конторским шрифтом, что и все остальные:

Кадык, башня Изъятия, отрезная Хильд (Грамм), шестой разряд. Изъять: левая ключица целиком, с содержимым. Исполнитель — назначается отдельно.

Она держала лист очень ровно, обеими руками. Шина на предплечье не давала руке дрогнуть, и в эту минуту, впервые за одиннадцать лет ношения, Хильд была ей за это по-настоящему благодарна — потому что дрожь сейчас выдавала бы её быстрее любых слов.

— Скегги.

— Я не знал, — сказал он. — Клянусь весами, всеми двенадцатью. Я вскрыл эту папку у тебя на глазах, только что.

— Ты вскрыл её вчера вечером. У тебя на большом пальце остался след от сургуча, ещё не стёртый.

Скегги посмотрел на собственный палец, будто увидел его впервые.

Он не стал врать дальше — не потому что боялся, а потому что был плохим человеком лишь по мелочи, по работе, а сейчас работа как раз кончилась и врать стало незачем.

— Мне сказали, что если я вручу эту опись как положено, мне спишут восемьдесят процентов моего собственного долга, — сказал он тихо. — Восемьдесят, Грамм. Я бы, может, наконец встал с этого кресла. Может, даже вышел бы прогуляться по Кадыку своими ногами.

— И сколько всего таких позиций, Скегги? Во всех папках сразу?

— У меня одна папка.

— А во всей Конторе?

Скегги молчал дольше обычного.

— Сколько отрезных получили сегодня такие сводные описи? — повторила Хильд твёрже. — Сегодня, вчера. Сколько человек всего?

— Все, — сказал он наконец. — Все, кто у нас числится. Сто двенадцать человек.

Хильд быстро посчитала в уме — считала она всегда быстро, это было её второе умение после точности, и оба достались ей неизвестно откуда, будто выросли сами по себе, без чужой науки.

Сорок четыре тысячи восемьсот ключиц.

Сорок четыре тысячи восемьсот живых имён за девять суток.

— Это не заказ, — сказала она тихо. — Это урожай.

— Иди работать, Грамм, — сказал Скегги очень тихо, почти шёпотом. — Пожалуйста. Просто иди работать и не думай дальше, чем на сегодня.

Она вышла на Кадык.

Наверху, над самой Гортанью, стоял серый утренний свет — единственный по-настоящему живой свет во всей Туше, потому что Гортань одна открывалась наружу, прямо в небо, и оттуда тянуло холодом и солью, будто где-то там, за краем, ещё существовал настоящий мир. Внизу лежал весь город разом: террасы Рёбер ступенями, чёрная извилистая лента Хребтовины, дальше — жёлтая муть Требухи, а совсем далеко у горизонта — круглое, тусклое пятно Ока, залитого водой на две трети, с торчащими из воды сваями старых причалов, как обломанными зубами.

Сорок четыре тысячи восемьсот.

Хильд стояла и считала опоры в Оке — потому что стоило ей начать что-нибудь считать, звон в ушах стихал сам собой. Она делала так всю жизнь, ещё с самого Костного Мозга, задолго до Конторы; служба же началась одиннадцать лет назад, по весне, в приёмной, куда она пришла с наспех нацарапанной запиской о найме и одним-единственным умением на всё её прошлое: точным весом на глаз, без ошибки хоть на грамм.

Её тогда спросили, откуда такая хватка к цифрам. Она ответила правду — снизу, — и этого короткого слова оказалось достаточно, чтобы её взяли без дальнейших расспросов: Контора не любила копаться в чужом прошлом, если настоящее приносило пользу здесь и сейчас.

Она досчитала опоры в Оке до конца. Их было двадцать шесть.

Ровно столько же, сколько ступеней вело к щели одиннадцать в межрёберье тридцать девятого яруса.

Хильд закрыла папку и медленно пошла вниз, к своей лестнице.



Двумя днями раньше, там, где её собственный круг подходил вплотную к границе с чужой землёй, Скёгуль торговала с проезжим караваном.

Караван шёл на Западную — три телеги, вожак с бельмом на левом глазу, которого она знала в лицо уже лет пять кряду, но по имени так и не называла, потому что запоминать торговцев по имени не входило в работу валькирии: они появлялись и исчезали с равнины, как погода, и с погодой на «ты» не заговаривают.

— Верёвку возьмёшь? — спросил вожак. — Хорошая, из конского волоса.

— Не нужно.

— А вот это?

Он протянул ей моток дублёной кожи — ремни для упряжи, — и пока она щупала их пальцами, проверяя на растяжку, с плеча её коня, зацепившись за старую пряжку сбруи, сорвался клочок шерсти: линялый, с застрявшим в нём репъём, оставшийся с ранней весны, когда она в последний раз меняла подпругу и просто не выбросила старую тряпицу за ненадобностью.

Она этого даже не заметила — руки были заняты кожей.

Заметил вожак. Поднял клочок с земли машинально, повертел в пальцах, хотел было бросить обратно в траву, но не бросил: у него была давняя привычка подбирать всё, что могло сойти за диковину где-нибудь на верхних ярусах, где скучающие богачи платили смешные деньги за любую вещь, которая пахла не Тушей, а чем-то другим, живым, снаружи.

— Кожу возьму, — сказал он о ремнях, откладывая моток в телегу, а клочок шерсти сунул в карман, не думая о нём больше, чем думают о случайной соринке на рукаве.

— На Гортани что нынче в цене? — спросила Скёгуль, не столько из любопытства, сколько по давней привычке спрашивать: слухи с той стороны иногда стоили дороже самого товара.

— Всё в цене, — сказал вожак. — Богатые скучают, оттого и покупают что попало. Им бы что угодно, лишь бы не отсюда, не из Туши.

Она пожала плечами и отдала ему за ремни столько, сколько он просил, не торгуясь, — торговаться с этим вожаком было пустой тратой дня, — и он уехал на запад, к рваному краю хребта, туда, где рёбра торчали наружу и курились дымом.

Она забыла об этом разговоре ещё до заката того же дня.

Клочок шерсти доехал до Гортани в кармане жоака, затерялся там среди прочей мелочи, которую тот таскал с собой месяцами не разбирая, и вылез на свет только через полгода, когда какой-то скучающий богач с верхних ярусов, перебирая содержимое лотка, спросил, что это за странная бурая труха попалась ему под пальцы.

— С равнины, — сказал вожак, уже сам не помня точно откуда. — Дикий зверь роняет, где ходит.

Богач купил её не глядя, за смешные деньги — просто чтобы было что показать гостям: вещь, которой в Туше по определению быть не могло, потому что в мёртвом теле шерсть не растёт и репей ни за что не цепляется.

Он не знал, что очень скоро отдаст этот клочок резчику из межрёберья в счёт собственного долга — потому что деньги у него после того самого вечера кончатся куда быстрее, чем он рассчитывал, а резчик возьмёт что угодно, лишь бы не вирой.

Скёгуль об этом никогда не узнает.

Она никогда не узнает, что клочок её собственной старой подпруги станет первой вещью, которую Кари подержит в руках и не сможет понять до конца, — и что этот самый клочок много позже окажется первым вопросом, на который у всей Туши не найдётся ответа.

Глава шестая. СКЁГУЛЬ. СТОЙБИЩЕ

Круг без хозяйки зарастает.

Хозяйка без круга — просто баба с ножом.

Стойбище встретило её дымом и лаем.

Дагни увидела её первой — прыгнула с изгороди загона, где чинила упряжь, и пошла навстречу той развалистой, нарочито уверенной походкой, которую переняла у Скёгуль ещё год назад и до сих пор не научилась носить как свою, а не как чужой плащ, снятый с чужого плеча и не по размеру.

— Долго, — сказала Дагни вместо приветствия. — Я тут одна две седмицы отбивалась.

— От кого отбивалась?

— От скуки, — сказала Дагни. — И от Гуннара, который третий раз спрашивал, кто теперь по счёту зимовки, раз тебя нет.

— И что ты ему ответила?

— Что я по счёту, — сказала Дагни с вызовом, которого хватило ровно на два слова, а на третьем голос у неё чуть дрогнул, потому что вызов этот был выучен наизусть заранее, а не прожит по-настоящему.

Скёгуль спешила, ничего не ответив, и это оказалось хуже любого ответа: Дагни осталась стоять, не понимая — одобрили её сейчас или высмеяли, — и именно такой неопределённости Скёгуль и добивалась. Дать девчонке готовый ответ значило дать ей опору. Опору давать было ещё рано. Дагни исполнилось двадцать три, она нарекала людей всего третий год и до сих пор путала уверенность с правотой — ту самую ошибку, за которую сама Скёгуль когда-то заплатила куда дороже, чем готова была объяснить сейчас вслух хоть кому-нибудь.

— Сколько у тебя набралось, пока меня не было? — спросила Скёгуль, расседывая коня неторопливыми, привычными движениями.

— Семь.

— Ошибки?

— Одна, — сказала Дагни, и на этот раз голос у неё сел уже без всякого вызова, тихо и виновато. — Старик один. Я дала ему имя покойного брата, думала, легче будет принять, раз похоже звучит, — а он два дня после этого не ел ничего. Оказалось, брата этого он сам когда-то и убил, по пьяни, ещё в молодости, и все в его старом стойбище об этом знали, а я забыла спросить.

Скёгуль посмотрела на неё внимательно — впервые за весь разговор по-настоящему внимательно, а не по привычке слушать вполуха.

— Ты спросила потом?

— Спросила. Переименовала заново.

— И как назвала на этот раз?

— Никак не назвала, — сказала Дагни. — Спросила, чего он сам хочет. Первый раз в жизни спросила у нарекаемого, чего он сам хочет, а не решила за него сразу.

Это было ровно то, чего Скёгуль никогда себе не позволяла за все тридцать лет, — и она почувствовала два чувства разом, оба неудобные, обжигающие: гордость за девчонку и что-то похожее на зависть, тонкое, мерзкое, которое она тут же придавила в себе, потому что рассматривать его подробнее было себе дороже, чем оно того стоило.

— Не делай так часто, — сказала она вслух. — Если каждый раз спрашивать, никогда не наречёшь, а безымянный день ото дня — не человек, а тревога, ходящая на двух ногах. Ты и сама это знаешь не хуже меня.

— Знаю, — сказала Дагни. — Просто в тот раз мне показалось правильным именно так.

— В тот раз, может, и было правильно. — Скёгуль сняла с коня седельные сумки одним рывком. — Не превращай один-единственный раз в правило на все случаи. Это разные вещи, и та, кто их путает, либо ломается сама, либо ломает того, кого нарекает, — а чаще всего и то и другое разом.

Дагни промолчала, и по этому молчанию Скёгуль поняла, что попала не в довод, а в то самое живое место, где Дагни ещё не решила окончательно, кем хочет стать: той, кто спрашивает, или той, кто решает и потом уже не оглядывается назад.

Скёгуль и сама этого не решила до конца, если быть с собой честной, — просто решила однажды, тридцать лет назад, один раз навсегда, и с тех пор не находила ни повода, ни сил передумать.

Старухи рассказывали иначе — что первая валькирия вовсе не сама придумала нарекать. Что она однажды подсмотрела за женщиной, сидящей у колодца на самом краю света, и та не спрашивала имени у нити, которую резала, а просто резала — и нить становилась тем, чем становилась. С тех пор так и повелось: не спрашивать, а решать. Это была просто сказка для маленьких, конечно. Но Скёгуль в детстве слышала её не один раз, и что-то от неё, кажется, так и осталось внутри — крохотное, забытое, но не выветрившееся полностью.

Кольгрим сидел у горна, когда она подошла, — голый по пояс, несмотря на вечернюю прохладу, потому что человек, тридцать лет проведший у огня, холода почти не чувствует, только жар, да и то не сразу, а через пару вдохов.

— Пружина, — сказала Скёгуль, кидая ему подпругу с лопнувшей пряжкой.

Он поймал её одной рукой, не глядя, и так же, не глядя, осмотрел на ощупь — пальцами, привычно ощупывая шов от края до края.

— Через два дня будет готова, — сказал он.

— Мне на равнину через день.

— Тогда через день, — сказал он без раздражения, тем же ровным тоном, каким сказал бы «через два». Спорить с ним было бесполезно и незачем: он всегда делал ровно столько, сколько успевал сделать хорошо, и никогда не обещал больше положенного.

— Как девчонка? — спросил он, кивнув в сторону загона, где Дагни снова взялась за упряжь.

— Растёт.

— В тебя растёт, или мимо тебя?

Скёгуль посмотрела на него — он не поднимал глаз от подпруги, работал, и вопрос свой задал так же буднично, как спросил бы о погоде на завтра, — и не ответила сразу, потому что честного ответа у неё не было, а придумывать его перед Кольгримом смысла не имело: он всё равно видел её насквозь лучше, чем кто бы то ни было во всём круге, именно потому что никогда не пытался её ни спасти, ни исправить, ни переделать под себя.

— Не знаю, — сказала она наконец. Честно — что случалось с ней самой редко, раз в год, не чаще.

Он кивнул, будто такой ответ его вполне устроил, — отложил подпругу в сторону, встал, вытер руки о штаны и посмотрел на неё уже иначе, тем взглядом, каким смотрел не на работу.

— Останешься на ночь?

— Может быть.

— Может быть — это да, — сказал Кольгрим. — Просто ты сама себе в этом ещё не призналась вслух.

Она осталась.

Между ними давно не было ни игры, ни притворства — только то, что остаётся, если игру и притворство убрать вовсе. Он привалил её к верстаку, ещё тёплому от дневной работы, пропахшему металлом и окалиной, и рывком развязал ремни нагрудника, без всяких церемоний, — она сама давным-давно запретила себе ждать от него нежностей, потому что нежности

были не его языком; а вот этим языком, грубым и прямым, она наслаждалась куда честнее, чем любимыми красивыми словами, какие ей доводилось слышать от других.

— Долго же тебя не было, — сказал он ей в шею, тяжело кладя ладони на грудь, всей пятернёй разом, с нажимом. — Скучал по этим твоим коровьим сиськам, чтоб их.

— Груб, кузнец.

— Груб, — согласился он и не остановился.

Она сама завела его руку туда, куда хотела, — показывала без стеснения, вслух, короткими злыми словами, потому что стесняться перед Кольгримом было так же бессмысленно, как стесняться перед собственным конём, который знает тебя наизусть с головы до пят, — и когда он наконец вошёл в неё, взяв грубо, прямо на этом верстаке, вбивая в дерево так, что дребезжали развешанные по стене клещи и молотки, она застонала в голос, длинно, без единой капли притворства, потому что притворяться тут было не для кого и незачем совершенно.

— Ещё, — сказала она. — Сильнее, блядь, не жалей меня.

Он и не жалел.

Позже, когда он начал выдыхаться — всегда выдыхался первым, годы уже не те, что раньше, — она отстранилась, толкнула его ладонью в плечо, заставляя сесть на край верстака, и опустилась перед ним на колени.

— Кончишь мне на грудь, — сказала она, не спрашивая, а просто сообщая заранее. — Хочу сегодня так, и точка.

Она свела груди руками с двух сторон, тяжёлые, полные, сжала их плотно вокруг него и задвигалась — медленно сперва, потом быстрее, глядя ему в лицо снизу вверх тем самым тёмным, довольным прищуром, каким смотрела вообще на всё, что нравилось ей по-настоящему, без остатка, — и когда он кончил, коротко всхрипнув и вцепившись пальцами в кромку верстака, она не отстранилась, приняла всё на грудь и в ложбину между ней, а после мазнула пальцем и слизнула, не глядя, буднично, как слизывают остаток каши с ложки, — и засмеялась низким довольным горловым смехом, увидев, как у него от одного этого зрелища снова напряглось лицо.

— Жадная тварь, — сказал он хрипло.

— Голодная, — поправила она. — Это разные вещи, кузнец, учись отличать.

Он не спрашивал, где она была тридцать лет назад и кого именно потеряла тогда. Она не спрашивала, почему он один живёт при кузне и ни разу за все эти годы не назвал ни одной женщины по имени, входя в неё, — ни её саму, ни, кажется, вообще никого во всём круге.

Это и было её любимым делом с ним — не потому что она врала себе, будто любит его самого по-настоящему, а потому что здесь, в его руках, под его размеренным, ничего не требующим молчанием, она на час-другой переставала быть той, кто решает за других, кто есть человек, а кто — просто мясо без бирки. Здесь решать было не за кого и не за что. Здесь было только тело, тяжесть, жар от давно не топленного как следует горна — и узкая холодная полоска внутри неё на это время затихала сама собой, без всякой пошлости и без всякой жестокости, единственным известным ей способом, который не требовал после этого срочно шутить, чтобы не остаться с ним наедине.

Утром, когда она седлала коня — Кольгрим уже успел заменить пряжку, как и обещал, — к ней подошла Дагни, хмурая, с чем-то явно давно заготовленным на языке.

— Люди с юга говорят, — сказала Дагни, — что у Западной сбилась вода. Там, где обычно было мелко, стало глубоко, а где было глубоко — ушло совсем, до самого дна. Торговцы жалуются, брод сместился на день пути в сторону.

Скёгуль затягивала подпругу — новую, ещё пахнущую сыромятной кожей, — и не сразу ответила.

— Когда это началось?

— Люди путаются в сроках. Кто говорит — с весны, кто — совсем недавно.

— Это не наш круг, — сказала Скёгуль ровно.

— Знаю, — сказала Дагни. — Просто ты вчера вернулась оттуда сама не своя. Я не спрашиваю зачем. Просто говорю, что слышала краем уха.

Скёгуль посмотрела на неё — дольше, чем собиралась сначала, — и в этот раз не стала прятать взгляд за очередной подначкой или шуткой.

— Хорошо, что говоришь, — сказала она. — Продолжай говорить, если услышишь ещё что-нибудь оттуда.

Дагни кивнула, явно не ожидав, что её просто поблагодарят, без насмешки и без нравоучения следом, — и это удивление на её лице Скёгуль забрала с собой, поднимаясь в седло, как маленькую, но настоящую победу: может статься, из этой девчонки всё-таки выйдет не просто вторая она сама, а что-то своё.

Она поехала на равнину, туда, где начинался её собственный круг, — и впервые за много лет мысль о том, что круг однажды придётся кому-то передать целиком, не показалась ей ни страшной, ни особенно далёкой.

Глава седьмая. КОСТНЫЙ МОЗГ

Костный Мозг был дном. Про него на всех верхних ярусах говорили одно и то же, слово в слово, будто сговорившись: туда не идут. Туда падают.

Он лежал под Требухой, под Мокрыми, под всем вообще, что имело в Туше названия, — полости внутри позвонков, узкие, как бутылочное горло, и туда качали воздух насосы, которые сами были старше самой Туши на два поколения смотрителей, сменявших друг друга у рычагов. Свет там был один-единственный: рабочие лампы на касках, жёлтый, дрожащий огонёк, и от него у всех, кто прожил внизу больше года, глаза становились одинаково прищуренными, будто их всех вырезал один и тот же резчик по одному и тому же лекалу.

Хильд было семь, когда она впервые спустилась туда сама, без матери, с ведром и скребком в руках, — потому что скребок весил меньше, чем разница между едой и голодом на конец месяца.

Работа называлась просто: сбор. В полостях позвонков откладывалось мозговое серебро — сизый тяжёлый налёт, которым нутро Имира нарастало изнутри, медленно, как накипь в старой трубе, только эта накипь стоила настоящих денег, потому что из неё в башне Изъятия делали контакты для весов и иглы для резцов. Взрослый в узкий проём попросту не пролезал. Пролезал только ребёнок, тощий, гибкий, ещё не набравший костяка.

Детей спускали на верёвке, с фонарём на лбу и скребком в руке, в щель шириной в две ладони, и там, в темноте, где кость смыкалась над головой с обеих сторон разом, надо было скрести стену, ссыпать соскобленное в мешок на поясе и, когда мешок тяжелеет, дёрнуть за верёвку три раза — сигнал наверх: поднимайте.

Старшие учили одному правилу твёрже, чем счёту: если скребок наткнётся на место, которое отзывается не глухим стуком, а мягким, будто под костью что-то живое, — прекратить сразу, отступить, не трогать. Никто из детей никогда не спрашивал почему. Спрашивать было не принято, а те немногие, кто спрашивал, быстро переставали.

В темноте, скребя стену вслепую, Хильд иногда представляла себе то, чего никогда не видела: открытое небо и ветер, который дует не откуда-то с одной стороны, а будто отовсюду сразу. Она не знала слова для этого. Просто закрывала глаза на секунду, воображала это ощущение — и скребла дальше.

Хильд научилась определять на слух, сколько весит мешок, не глядя на него вовсе.

Это была первая вещь, которую она выучила считать без единой ошибки, — задолго до лестничных ступеней, задолго до прутьев арматуры, задолго до всего, что потом взвешивала руками в Изъятии, — вес мешка на бедре, по тому, как он натягивает ремень. Первые три месяца она ошибалась постоянно. На четвёртый перестала ошибаться совсем, и с тех пор не ошибалась уже никогда.

Воздух внизу был плохим давным-давно, ещё задолго до неё, — Костный Мозг называли так не только за серебро, что там добывали; в глубине из трещин в кости сочился газ, сладковатый на вкус, тяжелее воздуха, и он стелился по самому низу проходов, а дети работали как раз внизу, лицом к полу, скребком по стене, вдыхая эту сладость полной грудью с утра до вечера.

От газа сперва тошнило. Потом становилось хорошо — и это было куда хуже тошноты, потому что человеку, которому вдруг стало хорошо в темноте, наверх выходить уже не хочется вовсе.

Фильтры стоили денег. Простая тряпичная маска с угольной прокладкой обходилась в три виры за месяц, вычетом из зарплаты у смотрителя. Кто не платил — дышал так, как есть. Мать Хильд не платила два года подряд, потому что три виры были едой на четыре дня вперёд, а выбор между тем, чтобы дочь дышала чисто, и тем, чтобы дочь не падала в голодный обморок на верёвке посреди смены, для неё выбором вовсе не был.

Хильд запомнила отца плохо, обрывками. Он работал в смене глубокого забоя — тех, кто добывал не серебро со стен, а саму кость, там, где стены раздалбливали кайлом, потому что серебро под ней лежало гуще, чем на поверхности. Эта смена не возвращалась в срок; она возвращалась в убыток — так это называлось в отчётах смотрителей.

Отца звали Ормар. Ормар Кривой — за то, что однажды обвал придавил ему ногу, и она срослась неправильно, вкривь, а он всё равно остался хромать и работать дальше, потому что хромой в узком забое ценился не меньше прямоногого: там всё равно трудились лёжа и на коленях, ноги были без надобности.

Хильд помнила его руки. Больше почти ничего. Руки, чёрные в трещинах кожи навсегда, до самой смерти, — их не отмывал никакой мёд, никакое мыло на свете, потому что серебряная пыль въедалась в трещины намертво и оставалась там годами, и по этим самым рукам смотритель на выходе узнавал забойщика не хуже, чем по именной бирке.

Он ушёл в забой в тот год, когда газ пошёл гуще обычного, а смотритель сказал, что это временно, что через месяц всё прочистят вытяжкой, — и месяц прошёл, и ещё один следом, а Ормар всё выходил и выходил из забоя, всё более медленный, всё чаще садясь на корточки на полпути вверх, чтобы просто отдышаться.

Хильд было пять лет. Она помнила, как он в последний раз мыл руки в общем баке — долго, дольше обычного, будто это могло что-то смыть по-настоящему, — а мать стояла рядом и молчала, потому что молчание было единственным, что у неё ещё оставалось.

Он не умер сразу в тот день. Об этом Хильд узнала гораздо позже, уже отрезной, когда подняла архив Изъятия по давней привычке всё проверять до конца: Ормар Кривой числился в смене ещё два года после того самого дня, который она запомнила как последний день с отцом. Два года его тело исправно спускали в забой и поднимали обратно, потому что смотритель платил бригаде по головам, а не по фактической работе, и мёртвая голова в списке исправно кормила живых.

«В Костном Мозгу второй год» — так говорили матери, у которых мужья пропадали в забое без вестей. Это значило: не спрашивайте больше ничего. Это значило: он там, и там ничего не меняется, жив он или мёртв, — глубина не отпускает подобной разницы вверх.

Хильд узнала правду в тот же самый день, когда узнала цену вопроса. Архив был устроен по весу: сколько серебра вынесено на голову бригады, сколько списано на плохой воздух, сколько на обвал. Против имени отца в графе «причина списания» стояло одно короткое слово, буднично, тем же самым почерком, каким писали про обычные мешки: «исчерпан».

Не умер. Исчерпан. Как фильтр в маске. Как батарея в лампе на каске.

Она тогда не заплакала — не смогла или не позволила себе, уже не различить. Она посчитала, сколько серебра он один вынес вверх за два своих посмертных года, перевела вес в виры, и цифра вышла больше, чем заработала за то же время вся остальная живая бригада вместе взятая, — потому что мёртвый не просит перерыва, не спит, не болеет и не жалуется на глубину, — и от этой арифметики её замутило сильнее, чем когда-либо мутило от самого газа внизу.

Она поднялась из Костного Мозга в одиннадцать лет, когда мать сумела выторговать ей место в чистой смене наверху, в Мокрых, — за долг, который потом сама мать отрабатывала ещё шесть лет, до самой своей смерти, — и больше вниз, в забой, не спускалась ни разу.

Но вес мешка на бедре она помнила всегда, до последнего дня. Он так и остался при ней: привычка взвешивать на глаз, не глядя, не спрашивая весы ни о чём, — и когда четырнадцать лет спустя её поставили в Изъятие с настоящими весами в руках, старшие удивлялись, до чего быстро она их освоила, будто выросла с ними в обнимку с рождения.

Она не удивлялась вовсе. Она просто наконец получила в руки инструмент, который умел ровно то же самое, что она сама умела с семи лет без всякого инструмента.

О Костном Мозге она с тех пор не говорила ни с кем. Только один раз, годы спустя, когда Кари — ещё чужой ей человек, ещё просто резчик из межрёберья — спросил её с порога, оценивая, откуда у неё эта манера всё взвешивать взглядом, она ответила коротко:

— Снизу.

— Откуда именно снизу?

— С самого низа, — сказала Хильд. — Там, где у Имира костный мозг. Дальше уже только смерть, и она там побывала задолго до нас всех.

Кари тогда не стал переспрашивать. Резчики Туши всегда хорошо чувствовали, когда вопрос закрыт наглухо.

Она не рассказала ему тогда про отца. Про два посмертных года в списках. Про слово «исчерпан», выведенное тем же самым ровным почерком, каким пишут вес отрезанного пальца в описи.

Она носила это в себе одна, как носила вообще всё, — посчитанным, взвешенным, разложенным по полочкам без остатка, — потому что единственный способ, какой она знала, чтобы не сойти с ума от одной мысли о той глубине, был способом самого Костного Мозга: сколько бы ни спустили в темноту, навёрх поднимать ровно по весу, ни граммом больше того, что способна унести на себе, не надорвавшись.

Глава восьмая. ГОРТАНЬ

Богача звали Свенссон, и он был из тех людей, кто до сорока лет ни разу в жизни не спускался ниже Кадыка.

Хильд провела его в мастерскую сама, по собственному настоянию, — потому что клиент такого разряда в междурёберье без охраны означал либо ловушку, либо непроходимую глупость, а разобраться, что именно из двух, входило теперь в её работу. Свенссон оказался просто глупым: рыхлый, потный, с той особенной бледностью, что бывает только у людей, всю жизнь дышащих оплаченным воздухом и ни разу не задыхавшихся по-настоящему, до звёзд в глазах.

— Мне сказали, вы делаете вторые имена, — произнёс он, садясь на табурет так осторожно, будто боялся его испачкать собой. — Не для реестра. Для... развлечения.

— Я делаю то, за что платят, — сказал Кари.

— Я хочу побыть кем-то другим. На вечер. Может, на два.

Хильд у двери едва заметно скривилась — Кари уже знал этот жест наизусть, он значил «богатые придурки», — но промолчала: девять суток шли своим счётом, и в её обязанности теперь входило не мешать ему зарабатывать, потому что заработок Кари стал заодно и её собственным пропуском в живых.

— Временное имя стоит дороже постоянного, — сказал Кари. — Оно должно сесть и слезть чисто, без шрама на реестре, без следа. Это тонкая работа, тоньше настоящей.

— Я заплачу.

— Вирой я за такие вещи не беру, — сказал Кари. — Беру вещами. Настоящими. Не подделками с рынка на Кадыке, их я вижу за версту.

Свенссон завозился, полез за пазуху, достал мешочек, а из мешочка — горсть мелочей: перстень, зуб какого-то зверя на шнурке, монету неизвестной чеканки, потёртую до гладкости.

Кари перебрал всё пальцами, не глядя, — он давно научился определять подделку от настоящего на ощупь, потому что подделка всегда была слишком гладкой, слишком старательной, будто её делали, чтобы обмануть глаз, а не время, — и отложил перстень с монетой в сторону, не задерживаясь.

— Это всё подделки, — сказал он. — Хорошие, добротные, но подделки. У вас с собой есть ещё что-нибудь?

Свенссон занервничал, задёргался.

— У меня в кармане... — Он полез снова, глубже, и вытащил маленький свёрток тряпицы, потёртый, явно завалявшийся с чего-то давнего, забытого. — Вот это мне подарили на ярмарке в Гортани, сказали — диковина, с равнины. Хотел выкинуть, всё забывал.

Он развернул тряпицу.

Внутри лежал клок шерсти.

Кари не взял его в руки сразу — сперва просто посмотрел, потому что глаз резчика, привыкший всю жизнь иметь дело с кожей, костью и мясом, сразу отметил в этой вещи что-то неправильное: волокна были не человеческие, не крысиные, вообще не из тех немногих, что водились в Туше. Грубые, полые изнутри, свалывшиеся в плотный пучок, и в этом пучке застрял маленький бурый шарик с колючками — сухой, лёгкий, цепкий на ощупь.

— Что это, — сказал он не вопросом, а скорее утверждением.

— Не знаю, — сказал Свенссон. — Торговец говорил — дикий зверь роняет. На равнине где-то.

— На какой равнине?

Свенссон посмотрел на него с искренним недоумением человека, для которого этот вопрос никогда всерьёз не стоял ни разу в жизни.

— Ну, за Тушей, — сказал он просто. — Снаружи.

Хильд подошла ближе — впервые за весь визит по-настоящему заинтересованная происходящим, — и Кари протянул ей клок, не отрывая от него взгляда.

Она взяла его в свою крупную, откормленную руку с шиной на предплечье и потрогала пальцем колючий бурый шарик.

— Больно, — сказала она, отдёргивая палец: шип проколол кожу, выступила капля крови, тёмная и круглая. — Оно живое?

— Не думаю, — сказал Кари. — Но оно выросло. Выросло на чём-то живом, отдельном от нас.

Он поднёс шерсть к свету лампы и повернул так и этак, разглядывая на просвет.

За одиннадцать лет в межрёберье он держал в руках тысячи вещей — редких, ворованных, поддельных, — и ни разу ничего похожего на это. В Туше не росло ничего, что не было бы куском самого Имира или тем, что вырастили в цехах на его костях искусственно. Здесь не водилось зверей крупнее крысы. Здесь не было колючек, потому что не было растений, дающих семена таким способом, — была плесень, был мох на сырых стенах, была трава на Кадыке, стриженная коротко и мелко, — но не это. Совсем не это.

— Заберите его себе, — сказал Свенссон, которому явно наскучило ждать своей очереди на внимание. — Мне он без надобности. Мне нужно имя на вечер, а не хлам с равнины.

Кари медленно завернул шерсть обратно в тряпицу и убрал её — не в общую коробку с расчётным материалом, а отдельно, за пазуху, туда, где до этого лежала только полоска высушенной кожи с чужим почерком на ней.

— Хорошо, — сказал он. — Какое имя вы хотите на этот вечер?

— Что-нибудь простое. Красивое. С Кадыка, как у благородных.

— Как вас зовут сейчас, я уже знаю, — сказал Кари, беря резец — не тот, что для настоящих имён, а короткий, тупой, для временных вязей, которые слезают сами через день-другой. — А как хотите, чтобы вас звал человек, с которым проведёте вечер?

Свенссон задумался — впервые за весь визит по-настоящему, всерьёз, — и в этой заминке было что-то по-человечески трогательное, чего Кари никак не ожидал от богача с фальшивыми украшениями в мешочке.

— Хравн, — сказал он вдруг. — Пусть будет Хравн.

Хильд у двери резко подняла голову.

Кари остановил резец на полпути к его ключице.

— Почему именно это имя? — спросил он ровно, слишком уж ровно для простого вопроса.

— Не знаю, — сказал Свенссон. — Слышал где-то мельком. Понравилось, как звучит. А что, плохое имя?

— Нет, — сказал Кари, снова опуская резец к коже. — Хорошее имя. Одно из лучших, какие я знаю.

Он написал вязь быстро, без обычной своей сосредоточенности, — временное имя не требовало той точности, что настоящее, оно ложилось поверху кожи, а не в глубину кости, — и всё это время думал не о работе, а о мальчике с ямкой ключицы, которого нарёк Хравном Ормарсоном накануне, и о том, жив ли тот мальчик ещё, и о том, что имя это, оказывается, гуляет по всей Туше само по себе, цепляясь то за одного человека, то за другого, будто давно уже не принадлежит никому конкретному, а живёт своей отдельной жизнью.

Когда Свенссон ушёл, довольный и на время кем-то другим, Хильд закрыла за ним дверь и повернулась к Кари.

— Ты испугался, — сказала она. Не вопросом — фактом.

— Я не испугался.

— У тебя дрожали руки, пока ты писал вязь.

Кари молчал, доставая из-за пазухи свёрток с шерстью и разворачивая его снова, уже под ровным светом лампы.

— Это не совпадение, — сказал он наконец. — Имя пришло раньше, чем я успел о нём подумать сам. Будто город решил мне напомнить о чём-то.

— Напомнить что?

— Что где-то снаружи есть трава, — сказал Кари. — И что-то, что по ней ходит и роняет вот это. — Он поднял клочок к свету. — Одиннадцать лет я думал, что дальше Ока нет ничего, кроме воды до горизонта. А это выросло не в воде.

За стеной, в глубине ребра, снова, едва слышно, что-то передвинулось — не дрожь на этот раз, просто медленный влажный вздох всей толщи, — и Кари машинально положил ладонь себе на грудь, туда, где под рубахой, у самого сердца, теперь лежал завёрнутый в тряпицу кусок мира, которого, по всем законам Туши, попросту не должно было существовать.



Вожак каравана с бельмом на глазу нашёл Скёгуль на обратном пути, там, где тропа его следующего круга пересекалась с её собственной, — и застал её не в духе: третий день подряд она не могла выбросить из головы слова Дагни про сбившийся брод.

— На Западную опять пойдёшь? — спросила она, придерживая его коня за узду прежде, чем он успел проехать мимо.

— По осени думал сходить.

— Возьмёшь слово для тамошней валькирии?

Вожак посмотрел на неё с любопытством — она никогда прежде не просила ничего подобного, — но кивнул: слово ничего не весило, а хорошие отношения с валькириями по обе стороны стоили дороже любого товара в телеге.

— Что сказать ей?

Скёгуль на секунду замешкалась, толком не зная, что именно хочет спросить у человека, которого видела в жизни один раз, — но потом решила, что лучше спросить прямо, чем ходить вокруг да около.

— Спроси, правда ли, что у них вода сбилась с узловика, — сказала она. — И скажи, что если понадобится лишняя пара рук на межевом деле — пусть пришлёт весть через тебя же. Я приду сама.

— Просто так придёшь? Для незнакомой бабы с другого края?

— Она не совсем незнакомая, — сказала Скёгуль, сама удивившись, как легко это выговорилось вслух. — Мы виделись один раз, на ярмарке у Сухого брода, три года тому назад. Она мне тогда серебряный крючок для узловика подарила — сказала, у меня старый совсем разболтался. Я до сих пор им пользуюсь, ни разу не поменяла.

Она не помнила лица Гёндуль. Помнила только крючок — маленькую вещь, сделанную аккуратно и без всякой нужды, просто по доброте, — и того, что этого оказалось достаточно, чтобы имя задержалось в памяти дольше, чем обычно задерживаются имена чужих валькирий с других кругов.

— Передам слово в слово, — сказал вождь и тронул коня каблуками.

Скёгуль смотрела ему вслед, пока он не скрылся за холмом, а потом коснулась пояса, где у неё и вправду висел тот самый крючок для узловика — простой, серебряный, немного потемневший от времени и пота, — и подумала, что три года — слишком долгий срок, чтобы помнить чужую доброту так ясно и подробно, если только этой доброты вообще не было слишком мало вокруг, чтобы её так легко забывать.

Глава девятая. МЁД (вторые сутки)

— Четыреста один, — сказал Кари.

— Четыреста один, — повторила Хильд.

— И ты пришла ко мне.

— Мне больше некуда идти, — сказала она. — Это тоже входит в процедуру?

Кари сидел на табурете, натягивая сапоги. Сапоги были хорошие, с Гортани, — единственная по-настоящему дорогая вещь во всей его норе. Он говорил, что человек, который живёт в дыре, обязан иметь возможность быстро из неё выйти, что бы ни случилось.

— Твой Скегги сказал правду хотя бы в одном, — сказал он. — Это оформлено как изъятие. А раз оформлено как изъятие — значит, всё делается строго по уложению. Значит, где-то в Конторе лежит бумага с настоящим именем заказчика.

— В Хранении.

— В Хранении, — согласился Кари. — Куда нам с тобой ходу нет. Зато оттуда наружу утекают выписки, а выписки продаются, потому что всё, что в Туше копируется, здесь же и продаётся, без исключений.

— Кому продаются?

— Лофту, — сказал Кари и поморщился так, как морщатся от собственной давней глупости. — Пойдём в Мокрые.

Мокрые ярусы лежали ниже Требухи, в паху у Имира, там, где две огромные кости уходили вниз и терялись в тумане, и где вечно капало сверху — конденсат с тёплой плоти, солоноватый, слегка маслянистый, за двести лет проевший в жести дыры размером с человека.

Здесь не существовало ни дня, ни ночи, а был только красный свет: не ради романтики, а потому что красные лампы обходились дешевле всех прочих и служили вдвое дольше.

Кари шёл впереди. Хильд — в полушаге позади и справа, положив ладонь на «гвоздарь», и на неё смотрели со всех сторон.

— Не пялся в ответ, — сказал Кари, не оборачиваясь. — Здесь взгляд — это уже оферта, считай себя выставленной на продажу одним таким взглядом.

— Меня узнают в любом случае.

— Тебя узнают всегда, шину на руке ничем не спрячешь, да и походка у тебя, как у метронома. Просто иди и делай вид, что ведёшь меня продавать.

— А я не веду?

— Веди, — сказал он. — Мне так спокойнее. Я всю жизнь мечтал быть чьей-нибудь собственностью — это очень упрощает планирование дня.

Притон Лофта назывался «Слюна» и располагался в бывшей насосной, где из пола до сих пор торчали четыре трубы толщиной с человека. Трубы были тёплыми. На них спали вповалку.

Внутри пахло горелым сахаром, потом и ещё чем-то тяжёлым, цветочным, отчего у Хильд немедленно занял затылок.

— Мёд, — сказал Кари, увидев её лицо. — Настоящий. Не дыши глубоко без нужды.

— Что он делает с людьми?

— Он делает то же самое, что делаю я словами, только без всяких последствий. Пока действует. — Кари обвёл рукой весь зал. — Посмотри на них внимательно.

Вдоль стен, на матрасах, лежали люди — десятка три, не меньше, — и все они говорили. Сразу, вполголоса, не друг с другом, а в потолок, в стену, в собственные сложенные ладони. Слова были красивые, витиеватые. Хильд поймала обрывки: «серебро вдовы», «зимний брат», «то, чем земля держит своих» — и вздрогнула, потому что последнее она уже слышала однажды, вчера, из чужого рта, за секунду до того, как лопнули её собственные веса.

Один голос выбивался из общего гула — не бормотал, а тянул, нараспев, ровно, будто знал слова наизусть с детства: «...и встал тогда Рагнар, безрукий уже, безымянный уже, и сказал спящему — возьми остальное тоже, мне не жалко, я и так почти весь твой...» Хильд не поняла, откуда это, и никто вокруг даже не повернул головы — здесь, видно, это слышали не в первый раз.

— Они сочиняют кеннинги, — сказала она.

— Они сочиняют мусор, — сказал Кари. — Один из тысячи попадает в цель, и тогда в этом зале что-нибудь ломается по-настоящему. В прошлом году один додумался наконец до кеннинга для двери, и вон та стена перестала быть стеной ровно на восемь минут. Двенадцать человек ушли напрямик в трубу и утонули там, не успев даже вскрикнуть толком.

— А ты? Ты его пьёшь, этот мёд?

— Пил, — сказал Кари. — Девятнадцать лет назад. Три месяца подряд. Потом Тюр привязал меня к трубе и держал так одиннадцать дней без перерыва.

— И что случилось на одиннадцатый день?

— Я перестал помнить, зачем вообще начинал, — сказал Кари. — Это, собственно, и есть лечение — единственное, какое тут работает.

Лофт принял их в подсобке, сидя на перевёрнутом ящике, окружённый ртами.

Ртов было девять. Они были вшиты прямо в него — в грудь, в плечи, в живот, в тыльные стороны обеих ладоней, — и все девять чужие: разной формы, с разными зубами, с разным цветом дёсен. Хильд читала описания такого, но живьём видела впервые. Называлось это «многогочение»: купив у человека рот, ты покупаешь заодно всё, что этот рот когда-либо слышал, и можешь при желании заставить его заговорить снова, чужим голосом из чужой жизни.

— Мёёёд, — сказали разом четыре из девяти, вразнобой, с небольшой задержкой друг относительно друга, и от этого по коже пробежал настоящий мороз. Лофт улыбнулся собственным, десятым, родным лицом. Оно оказалось очень обычным. Худое, вежливое, чуть усталое — лицо человека, который всю жизнь работает с людьми и давно к ним привык.

— Ты умер, — сказал Лофт. — Мне продали, что ты умер. Позавчера, ближе к ночи. Я заплатил за эту новость.

— Тебя обманули.

— Меня не обманывают, — сказал Лофт спокойно. — Мне продают то, что скоро станет правдой само по себе. — Он перевёл взгляд на Хильд. — Отрезная. Настоящая, не подделка. Мёд, ты хоть знаешь, что у тебя за спиной стоит?

— Знаю.

— И как тебе с этим?

— Тепло, — сказал Кари. — Лофт, мне нужна выписка по сводным описям Дома ХАР. Заказчик. Мне нужно имя.

Один из ртов у него на животе засмеялся сам по себе.

— Дорого, — сказал Лофт.

— Сколько?

— Не в воре, — сказал Лофт и наклонился вперёд, и все девять ртов открылись одновременно, влажно, с одним и тем же чавкающим звуком. — Кеннинг. Любой, какой найдётся. Мне в рот — вон в тот, на левой ладони, он у меня чистый, я его специально берегу для хорошего.

Кари медленно покачал головой.

— Ты знаешь, что будет после.

— Знаю. Ты забудешь что-нибудь красивое из своей жизни. — Лофт пожал плечами, будто речь шла о пустяке. — А я получу вещь, которую во всей Туше умеют делать от силы четыре человека, и один из них уже давно висит на крюках без движения.

— Кто? — быстро спросил Кари.

— А это уже вторая отдельная покупка, — сказал Лофт с ленивой улыбкой.

Хильд шагнула вперёд.

Она сделала это без размаха и без единого лишнего слова: просто взяла Лофта за нижнюю челюсть — за настоящую, десятую, родную, — и приложила лезвие своей ложки к внутренней стороне его щеки. Всё вместе заняло секунду и одну восьмую; она знала это точно, потому что её этому специально учили и потому что она, как всегда, считала.

— В описи это называется «первичная фиксация», — сказала она ровно.

Девять ртов заорали разом. Все девять, чужими голосами — мужскими, женскими, одним детским, тонким, — и от этого воя у Хильд заложило уши до звона, но рука не дрогнула ни на грамм, потому что на руке была шина.

— Скидка, — сказал Лофт своим собственным ртом, спокойно, почти уважительно, будто хвалил хорошую сделку.

Он дал им листок.

Хильд взглянула на него мельком. Внизу, под шапкой, стояло одно-единственное слово, и она его знала так же хорошо, как все в Туше: его писали на упаковках воздуха, на баках с водой, на дне мисок в столовых Костного Мозга.

ХАР. Единый распорядитель. Хрофт.

А чуть ниже, мелко, приписка от руки, наспех:

«Сдача — до вечера девятого. После — счёт закрывается».

— Что за счёт? — сказал Кари.

— Мёд, — сказал Лофт почти ласково, — ты правда думаешь, что кто-то станет собирать сорок пять тысяч имён только для того, чтобы аккуратно разложить их по полочкам, как в архиве?

Один из ртов на его груди добавил, чужим старушечьим голосом, дребезжащим, как треснувшая посуда:

— Он их сложит.

Они вышли обратно в красный коридор. Хильд шла быстро, слишком быстро для собственных же правил, и на третьем повороте Кари поймал её за локоть.

— Стой.

— Не трогай меня.

— Стой, Хильд.

Она остановилась и упёрлась лбом в тёплую жестяную стену, и Кари увидел, как у неё под кожей на шее часто-часто бьётся жилка, будто пойманная птица.

— Сорок пять тысяч, — сказала она.

— Больше. Он собирает всё, что вообще есть в городе, и там наверняка не одна только Контора.

— Зачем ему столько.

— Затем, что одно имя — это ключ, — сказал Кари. — А сорок пять тысяч ключей от одного замка — это уже не ключи вовсе. Это отмычка на все двери сразу.

Хильд повернулась к нему.

Красный свет делал её лицо чужим, незнакомым, и Кари поймал себя на том, что смотрит на неё дольше, чем требуется для простого разговора. Ему было тридцать шесть лет. У него не было ни жены, ни памяти о жене, и последние одиннадцать лет он честно считал это одним и тем же — пока не встретил эту женщину с шиной на руке.

— Сколько мне осталось всего? — спросила она.

— Девять суток.

— И ты можешь сделать мне настоящее имя за девять дней.

— Могу.

— Тогда почему до сих пор не начал?

— Потому что я тебя не знаю по-настоящему, — сказал Кари. — А имя нельзя вырезать человеку, которого не знаешь. Это не бумага, Хильд. Это надо написать так, чтобы кость сама приняла написанное. А кость принимает только правду, ничего больше.

Она смотрела на него молча, долго.

Потом взяла его за ворот и притянула к себе — не грубо, а тем же экономным, точным движением, каким брала своих должников за подбородок, — и поцеловала его, и Кари вдруг понял, что она делает это точно так же, как всё остальное в жизни: без размаха, за одну секунду и одну восьмую, потому что решение было принято ещё раньше, где-то там, на третьем повороте коридора, задолго до этого поцелуя.

Он мог её оттолкнуть. Не оттолкнул.

Комната наверху стояла четыре виры за ночь и не имела двери — только тяжёлый занавес из старой конвейерной ленты, чёрной, глухо стукнувшей за их спинами. Хильд первым делом сняла шину и положила её на пол, и левая рука у неё сразу мелко задрожала; она посмотрела на эту дрожь так, будто увидела что-то чужое, не своё, — и Кари накрыл её запястье ладонью, и дрожь унялась сама собой.

Она раздевалась быстро и деловито, как раздеваются перед врачом на осмотре, — и всё равно у Кари перехватило дыхание, потому что под серым форменным сукном оказалось то, чего в этом городе просто не выдают никому даром. Тяжёлое, белое, полное, горячее на ощупь. Тело, которое кормили одиннадцать лет подряд, в городе, где еду меряют ложками и вздохами. Он смотрел на неё так, как смотрят на еду после долгого голода, и ему стало стыдно за этот взгляд, и он всё равно не отвёл глаз.

Она заметила этот взгляд и не прикрылась ни на секунду. Отрезные не прикрываются — их этому не учат, а сама она никогда не видела в этом смысла.

— Ну, — сказала она. — Считай, раз уж смотришь.

Он расстегнул на ней последнее и остановился сам, замер — потому что под ключицами у неё было то же самое, что и у него: белая рубцовая вязь, старая, оплывшая, но родная, своя собственная.

— Ты пишешь на себе, — сказал он тихо.

— Я считаю на себе, — сказала Хильд. — Каждый год — одна черта. Чтобы точно знать, сколько меня уже накопилось.

Он насчитал одиннадцать чёрточек, одну за одной.

Всё, что было потом, они делали молча и всерьёз — двое взрослых людей, у которых в запасе всего девять суток и ни единого повода доверять друг другу заранее. Она была жёсткая, точная в движениях и при этом совершенно неопытная, и это сочетание оказалось страшнее любой развращённости, какую он видел прежде; он сам был мягче, чем собирался быть, и оба это заметили, и оба сделали вид, что не заметили ничего. В какой-то момент она вцепилась ему в плечо так, что после остались четыре синяка, и сказала ему в самое ухо что-то короткое — не имя, не ласковое слово, а число: сколько ударов сердца прошло с начала. Кари засмеялся ей в шею от неожиданности, и она наконец тоже засмеялась, впервые за весь вечер, — коротко, сипло, зажимая себе рот ладонью, будто смех был чем-то неприличным, что нужно спрятать.

Он замер, вслушиваясь в этот смех.

Он лежал потом в темноте, чувствуя губами её ключицу, и в голове у него было пусто и звонко, как в разбитом стакане, а что-то очень далёкое, вырезанное собственной рукой одиннадцать лет назад, скреблось изнутри в стену и просилось наружу — и не могло выбраться, потому что дверь была не заперта на замок, а вырезана из стены вместе с петлями, начисто, без следа.

Кто-то уже смеялся так же, подумал Кари смутно, проваливаясь в дремоту.

Ты уже спасал одного человека, и это стоило тебе всего. Не делай этого дважды.

Он лежал и смотрел в тёмный потолок, и там, наверху, за жестью, за мясом, за всей толщиной костей спящего великана, начинались вторые сутки из девяти отпущенных.

Глава десятая. СКЁГУЛЬ. ВНУТРЬ

Она не поехала домой.

Стоя на том же гребне, откуда два дня назад смотрела на рваный край хребта, Скёгуль сказала себе то же самое, что говорила всегда, когда решение уже было принято, а причина ещё только подбиралась следом, задним числом: слух о трещине так и остался непроверенным, а проверить его можно только одним способом — спуститься вниз и спросить у тех, кто живёт внутри, а не гадать бесконечно по дыму издалека.

Это была правда. Не вся правда.

Другая её половина оказалась проще и куда честнее: два дня в седле, ночёвки в поле, разговор с одним-единственным конём — этого с лихвой хватало телу, а вот всему остальному в ней давно уже не хватало. Полю нечем было ответить, когда хотелось не тишины, а шума, не костра, а крыши над головой и чужой мужской руки, наливающей ей выпить, а не её собственной. Город — даже такой, вырезанный из трупа, даже насквозь провонявший чужой бухгалтерией, — в этом смысле оказывался честнее. Город умел развлекать так, как не умеет пустая трава на ветру.

Она отпустила коня пастись у самой границы, привязав длинным поводом к вбитому колышку — он был приучен ждать неделями без хозяйки, — накинула поверх нагрудника дорожный плащ с капюшоном, сунула под него узловик и лишние ножи, и пешком пошла вниз, к рваному краю рёбер, туда, где город начинался буквально: с дыры в боку мертвеца, обжитой настолько плотно и давно, что о самой ране, породившей это жильё, давно позабыли за давностью лет.

Воздух снаружи стоял сухой, тёплый, пах травами и дорожной пылью. Внутри пахло иначе совсем. Она почувствовала эту разницу ещё до того, как подошла вплотную к воротам.

Внутри вёл проём между двумя рёбрами, укреплённый жёстью и деревом, — ворота, если это слово вообще подходило к дыре в трупе великана. У прохода стояли двое с костоглядами — не отрезные, судя по одежде, а обычная стража, — и один из них, оглядев её с ног до головы дольше, чем того требовала простая проверка, спросил:

— Бирка?

— Нет бирки, — сказала Скёгуль. — Я снаружи.

Стражник хмыкнул, но не удивился — видимо, снаружи приходили сюда не в первый и не в последний раз за его службу.

— Пошлина за безымянных, — сказал он. — Три виры или час работы у ворот.

У неё не было вир — откуда бы им взяться у человека, для которого вся равнина не знает денег вовсе, — и она сказала об этом прямо, без обиняков.

— Тогда чем платишь? — спросил второй, помоложе, и в его голосе Скёгуль расслышала знакомую интонацию, ту самую, с которой обращаются сначала к телу, а уже потом, если вообще, — к человеку в нём.

Она могла бы сломать ему руку — привычка требовала именно этого движения, рука сама помнила, как поворачивать чужое запястье, — но здесь это не решило бы задачи: ей нужно было войти внутрь, а не оставить за спиной ещё одного покалеченного не по своей воле стражника.

Вместо этого она распахнула плащ на груди, будто бы просто поправляя его на ходу, — под ним нагрудник и так держался на одной расстёгнутой застёжке. Тело было видно отчётливо в широком вырезе: тяжёлая грудь, влажная от пота кожа, тёмные соски, ничем не прикрытые. Она чувствовала, как взгляд молодого стражника медленно скользит по ней сверху вниз, и не пряталась ни на секунду.

— Ничем, — сказала она вместо ответа, глядя ему прямо в глаза тем же взглядом, каким смотрела на противящихся наречению. — Но я тебе больше нравлюсь стоя здесь, живая и целая, чем в качестве нового часового у твоих же собственных ворот. Выбирай сам, времени у меня немного.

Молодой замялся, не зная, куда девать взгляд. Старший — тот, что спрашивал про бирку, — неожиданно фыркнул, коротко и почти уважительно.

— Пропусти её, — сказал он младшему. — Снаружные такие не врут никогда. Сказала «ничем» — значит, действительно ничем, а не набивает себе цену перед торгом.

Молодой стражник сглотнул, но всё же отошёл в сторону.

Её пропустили.

Внутри воздух ударил в лицо сразу, весь и разом: густой, спёртый, пахнувший металлом, гнилью, чужим потом и чем-то сладковатым сверху, наносным, — воздух города, за который платят и который поэтому никогда не бывает просто воздухом, как на равнине. Скёгуль задыхалась чаще, чем сама заметила поначалу, — тело узнавало опасность быстрее головы, — и заставила себя дышать ровно, привычным усилием воли, каким успокаивала коня перед боем.

Первое, что она увидела внутри, было не людьми, а весом.

Здесь всё имело цену, выраженную прямо, без всякого стеснения: на стенах висели таблички с цифрами, у прохожих на поясе покачивались весы разных калибров, а те немногие, кто шёл мимо совсем без весов, шли иначе, чем остальные, — ниже опустив голову, жмясь ближе к стене, будто само отсутствие весов делало их менее защищёнными перед всеми остальными. Она проходила район за районом, не спрашивая названий, просто впитывая всё разом: ярусы, лестницы, лица людей с той самой серой шелушащейся плёнкой на коже, о которой слышала в чужих рассказах, но никогда не видела прежде живьём, — и на каждом шагу узнавала не отдельные детали, а саму логику этого места целиком: здесь никто не был человеком просто так, каждый был чем-то оценённым, взвешенным, вписанным в чей-то список.

Она подумала о Кетиле, о том, как легко было дать ему имя, — и впервые в жизни поняла, что там, снаружи, наречение оказывалось милосердием по сравнению со всем этим: одно произнесённое слово — и ты снова человек, а не просто позиция в чужой описи.

К вечеру, спустившись через два яруса и один раз заплутав в переходе, который, кажется, вёл в противоположную от нужной сторону, она вышла на красный свет.

Мокрые встретили её конденсатом, капавшим с потолка на плечи, и запахом, тяжёлым, цветочным, от которого сразу заныл затылок, — она узнала этот запах не по названию, но по действию: так пахнет то, что на время делает чужую боль не твоей собственной. Дверь с криво намалёванной вывеской гласила одно слово: «Слюна».

Скёгуль толкнула дверь и вошла внутрь. Стянула плащ с плеч ещё в дверях и повесила его на гвоздь у входа вместе с чужими — здесь, среди своих, прятаться было незачем.

Внутри былолюдно, шумно и жарко — после равнины, после недели у костра под открытым небом это ощущалось почти как объятие, — и первый же взгляд, брошенный на неё через весь зал, принадлежал крупному мужчине за стойкой, оценившему её плечи, рост и стать с тем откровенным, ничуть не стесняющим себя интересом, какого она не видела на равнине уже давно: там мужчины смотрели на неё с опаской, здесь — с голодом.

Ей это понравилось больше, чем она была готова признать вслух хотя бы себе самой.

Она прошла к стойке, чувствуя на себе сразу десятки взглядов, и не пряталась. Напротив — шла так, чтобы все успели заметить. Чтобы запомнили надолго.

— Что пьёшь, наружная? — спросил кто-то сбоку, и Скёгуль повернулась на голос — широкий, крепкий парень с обожжённой рукой, судя по виду, из цеховых рабочих, — и, оглядев его так же откровенно, как только что оглядели её саму, ответила единственным способом, каким умела отвечать на подобные вопросы всю свою жизнь.

— То же самое, что и ты, — сказала она. — И побольше, раз наливаешь.

Глава одиннадцатая. ТРОЕ

Утром спустилась вниз голодная, помятая после короткого сна и вполне довольная собой. Цеховой оказался неплох — крепкий, без лишних разговоров, с руками, которые знали, куда их девать, — но к утру от него осталась только вмятина на соломенном тюфяке в подсобке да смутное воспоминание о том, что он один раз назвал её «госпожой равнины», и она за это едва не подавилась смехом посреди самого дела.

Она заказывала завтрак, когда дверь «Слюны» отворилась и внутрь вошли двое, каких она не видела здесь ни разу за весь вчерашний вечер.

Она сразу поняла: эти двое — не завсегдатаи заведения.

Мужчина был высокий, тощий, серый лицом даже для здешних мест, — не от испуга, а от той особой усталости, что накапливается не за одну ночь, а годами подряд, — на левой ключице у него из-под расстёгнутого ворота виднелись старые белые рубцы, ровные, уложенные строчками, будто кто-то долгими годами писал сам на себе, как в книге. Глаза у него бегали — не трусливо, а как у человека, который каждую секунду по привычке пересчитывает выходы из комнаты, а не потому что сейчас в этом есть особая нужда.

Женщина рядом с ним была совсем другое дело, и Скёгуль задержала на ней взгляд куда дольше, чем на нём.

Крупная — по-настоящему крупная, тяжёлая в кости, с такой грудью и такими бёдрами, каких Скёгуль не видела ни у одной здешней женщины за весь вчерашний день, — и в этом городе доходят такое тело смотрелось до того чужеродно, что Скёгуль на секунду прищурилась, проверяя, не мерещится ли это спросонья. Через левое предплечье шла рабочая шина — не свежая рана, а настоящий рабочий инструмент. На поясе, там, где полагалось висеть весам, крепился только пустой кожаный подвес — потёртый по краю ремешок без самого прибора, будто хозяйка забыла его дома или, что вероятнее, ей попросту нечего было туда вешать.

А потом Скёгуль увидела её глаза.

Оба светлые, почти бесцветные, красивые сами по себе, если бы не то, что левый сидел неправильно и на долю секунды отставал от правого при каждом повороте головы, — дешёвая работа, Скёгуль такое уже видела на равнине у баранов после неудачного окота, только там подобное стоило жизни одному животному, а не тому, кто по идее должен был бы этой женщине быть равным.

— Это не человеческий глаз, — сказала она вслух, себе самой, но достаточно громко, чтобы услышали за соседними столами.

Мужчина резко обернулся на голос — и замер на месте.

Он смотрел на неё так, как в этом городе, судя по всему, никто ни на кого не смотрит: снизу вверх в самом буквальном смысле, потому что она была на голову выше него, — и на лице у него боролись сразу два чувства, настороженность и что-то вроде голода, того самого, с каким на равнине смотрят на редкого зверя, случайно забредшего туда, где ему совсем не место.

— Ты не отсюда, — сказал он. Не вопрос — вывод.

— А ты быстро соображаешь для человека, который явно не выпался, — сказала Скёгуль, кивнув на его серое лицо.

Женщина рядом чуть сместилась, вставая между ним и незнакомкой, — не резко, а привычно, как встают между тем, что охраняешь, и тем, что ещё не проверено на опасность.

— Хочешь занять свободный табурет и не отсвечивать, — сказала она, — или продолжишь разглядывать нас, как редкую скотину на торгах?

— Продолжу, — честно сказала Скёгуль. — Скотина у вас тут и правда редкая. Ты первая женщина в этом городе, у которой есть на что смотреть, кроме костей да синяков.

Она смотрела на неё открыто, не как на диковинку — как на еду. Грудь, бёдра, всё это читалось как вызов. Или как приглашение. Скёгуль не была до конца уверена, что из двух, и ей это нравилось.

Крупная женщина не покраснела и не смутилась ни на секунду — она смотрела на Скёгуль тем же прямым, оценивающим взглядом, каким сама Скёгуль привыкла смотреть на других, — и от этой узнаваемой манеры Скёгуль вдруг стало почти весело.

— Спасибо, — сказала женщина ровно. — Меня специально кормят за это, знаешь ли. Как скотину и разводят на убой.

— Значит, у нас с тобой одна профессия, — сказала Скёгуль. — Меня тоже кормят за тело. Разница в том, что моё мне разрешают ещё и использовать по назначению, а не только показывать оценщикам издалика.

Мужчина издал звук, среднее между кашлем и смехом, — судя по тому, как он тут же зажал рот ладонью, звук вырвался у него против собственной воли, — и это почему-то понравилось Скёгуль больше всего остального, сказанного за всё утро.

— Садитесь, — сказала она, кивнув на лавку напротив себя. — У вас у обоих вид людей, которым сперва нужно поесть, а уже потом разговаривать дальше.

Они сели — не сразу; женщина сперва обвела зал взглядом, привычно, по-рабочему, проверяя углы и выходы, и только потом опустилась на лавку, — а мужчина сел следом, тесно к ней, будто по давней привычке держаться рядом, а не от страха перед незнакомкой.

— Ты действительно снаружи, — сказал он, глядя на неё уже с меньшей настороженностью, но с тем же жадным вниманием в глазах. — Не с верхних ярусов, не богач, играющий в равнину для развлечения. По-настоящему снаружи, с самой земли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.